

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 6

КОМАНДИР БОМБАРДИРОВЩИКА



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 6

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 6 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	21
Глава 4	28
Глава 5	35
Глава 6	42
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 6

Глава 1



— Дальше, — говорит она. — Люди. У меня на сегодня девятнадцать человек. Из них ходячих — одиннадцать, и восемь из них можно везти сидя, хоть на телеге, хоть в трюме, лишь бы не под дождём. Трое ходячих на самом деле не ходячие, а упрямые: это Гаврюшин, Мельников и ваш ефрейтор из БАО, который каждый раз встаёт, когда я вхожу, и каждый раз после этого сереет. Четверо — только на носилках и только с сопровождающим. И ещё четверо — Иванов, вы слушаете? — четверо, которых я вообще не хочу никуда везти, пока не будет чем их принять на той стороне.

— Слушаю.

— Тогда скажите мне сразу и честно: сколько человек вы можете взять в самолёты?

Вот это правильный вопрос. Не «возьмите всех», не «спасите людей», а «сколько».

Я считаю вслух, потому что считать вслух при ней полезно: она ловит ошибки.

— В машине мы можем везти человека, если он сидит и если он не мешает экипажу работать. Не в бомбоотсеке и не на полу у штурмана. Реально — один, в исключительном случае двое, и то не в каждой машине и не на каждом маршруте. Центровка, горячее, дальность. И ещё одно: если нас на маршруте перехватят, человек, который сидит и не может встать, погибнет вместе с нами. Не потому, что мы плохие, а потому, что он не выпрыгнет.

Лида слушает, не перебивая.

— Значит, тяжёлых — морем, — говорит она.

— Значит, морем. И вот тут я вам ничего не гарантирую, потому что тоннаж не у меня.

— А что у вас?

— У меня очередь. Я могу добиться, чтобы носилочные шли в первой очереди и с сопровождающими, и чтобы их не грузили последними на то, что уйдёт первым. Могу добиться, чтобы им дали место в трюме, а не на палубе. Больше не могу.

— Это уже много, — говорит она. — Обычно мне отвечают «сделаем всё возможное».

— Это те же слова, только без счёта.

Она впервые за разговор улыбается — коротко, одним углом рта.

— Хорошо. Тогда смотрите дальше. Есть вещь, о которой мужчины всегда забывают.

— Какая?

— Их надо поить.

Лида ведёт меня вдоль коек и показывает, будто читает лекцию, и я не мешаю, потому что она права: я про это действительно не подумал.

— Вот он поедет, — говорит она у первой койки, где лежит парень с перебинтованной грудью. — Он доедет до причала на подводе. Там будет ждать. Сколько будет ждать?

— Не знаю.

— И я не знаю. Может, два часа, может, до ночи. У него жар. Ему нужно пить каждые полчаса, иначе я вам его на том берегу сдам в худшем виде, чем взяла. Значит, при нём должен быть человек с флягой. Не «санитары присмотрят». Человек. С флягой. Который знает, что каждые полчаса.

— Сколько таких?

— Четверо носилочных и двое сидячих. Итого шесть человек сопровождения, и это не считая тех, кто понесёт.

Я записываю. Потом задаю вопрос, который мне не нравится:

— А если сопровождающих не хватит?

— Тогда я поеду сама и буду бегать между ними, — говорит она спокойно. — И половину сделаю плохо. Поэтому давайте лучше найдём людей.

Мы находим четверых: двоих из БАО и двоих выздоравливающих, которых Лида проверяет прежде, чем принять помощь. Остались ещё двое; дежурный ищет их по свободным сменам. Шевчук, повар при причале, берёт воду на себя: кипяток для фляг до выезда и полный бак у места ожидания. Котёл он не бросает ради чужой подводы.

Потом Лида идёт по койкам и каждому говорит одно и то же, разными словами.

— Вас повезут на подводе. Не сегодня. Скорее всего, послезавтра или позже. Когда повезут, вас накроют, будет трясти, это плохо, но недолго. На причале будете ждать. Пить будете, вода будет, Лукьянов за это отвечает, вот он, посмотрите на него, запомните лицо. На судне будете в трюме, там душно, но там не качает так, как на палубе. Вопросы?

Вопросы есть, и они все мелкие, и все важные: возьмут ли шинель, вернут ли документы, будет ли уборная, дадут ли закурить.

Я стою в дверях и смотрю, как из «мест по бумаге» обратно получают люди.

— А вы чего ждёте? — спрашивает она, проходя мимо. — Вам ещё к причалу.

— Жду, когда вы сядете, — говорю я. — Вы третий час на ногах.

— Иванов.

— Что?

— Не лечите меня, — говорит она. — Это моё.

— Не лечу. Смотрю.

Она фыркает и идёт дальше, но через две койки всё-таки садится на табурет, и мне этого достаточно.

Тимка сидит в радиорубке, свернувшись над столом, и пишет.

Рубка — громко сказано: это закут за двумя стенками из досок, с лампой, повешенной высоко, потому что он попросил высоко. Внизу лежит его хозяйство: аппаратура, запасные

лампы в стружке, катушки, наушники, три толстые тетради и несколько рулонов бумажных лент.

— Что делаешь?

— Переношу, — говорит он, не поднимая головы. — Товарищ старший лейтенант, вы же сказали: переносное всё, что можно унести.

— Сказал.

— Вот я и переношу частоты в маленькую.

Он показывает: тетрадка размером с ладонь, в клеёночной обложке, и на её страницах ровными столбиками — цифры.

Я беру её и листаю.

Красиво. Аккуратно. И совершенно бесполезно.

— Тимка.

Он поднимает голову от строки, даёт взгляду остановиться на моём лице.

— Слушаю.

— Вот эта строчка. Три тысячи семьсот пятьдесят. Что это?

— Это их частота. Ну, на которой мы слушали.

— Когда слушали?

Он открывает рот. Смотрит на строчку. Смотрит на меня.

— Двадцать шестого... нет, двадцать восьмого. Ночью. Или это была та, которую мы днём...

Он замолкает.

— И вот теперь представь, — говорю я, — что тетрадку читает не ты. Читает радист, который придёт к нам в октябре, а тебя в это время, скажем, увезли на осмотр в госпиталь. Он открывает, видит число и что с ним делает?

— Настраивается, — говорит Тимка упавшим голосом. — И слушает пустоту. Потому что днём там никого.

— Или наоборот: слушает и слышит, и решает, что это то самое окно, а это уже другое окно, они его сдвинули.

Он берёт тетрадку обратно и смотрит на неё почти враждебно.

— Значит, я столько времени зря писал.

— Не зря. Ты написал первый столбик из четырёх.

— Каких четырёх?

— Думай.

Он думает. Я жду. Это, между прочим, самое трудное в командирском деле: не подсказывать в ту секунду, когда подсказать быстрее и проще.

— Время, — говорит он наконец. — Когда я это слышал.

— Дальше.

— И... сколько. Ну, долго или коротко. Нет, не так. — Он трёт лоб. — Что я считал ответом. Вот мы про окно как узнали? Не потому, что там что-то есть, а потому, что в нём наш повторитель прошёл дважды подряд разборчиво. Значит, надо писать, что считалось разборчивым.

— И последнее.

Он молчит дольше.

— И насколько я уверен, — говорит он тихо. — Потому что бывает, что я слышу и понимаю, а бывает, что я слышу и думаю, что понимаю.

— Вот теперь пиши.

Он переписывает всё заново, и это занимает у него весь вечер и половину следующего дня.

На второй день я захожу и вижу, что за столом их двое: Тимка и Савченко, сменный радист, худой парень с обветренными скулами, который в августе летал вместо него и до сих пор от этого немного неловко себя чувствует рядом.

Работают они так: Савченко читает вслух из толстой тетради, Тимка пишет в маленькую. Тимке так легче — не надо бегать глазами со страницы на страницу, а голос он держит без напряжения.

— «Двадцать второе, ноль два сорок, три семьсот пятьдесят», — читает Савченко.

— Что там было?

— Написано «слышал».

— «Слышал» не годится, — говорит Тимка. — Ты помнишь?

— Помню. Это когда я сидел и у них шёл этот их перестук, ну, короткими. Я его тогда принял за смену частот.

— Ты его принял, а проверил кто?

— Никто, — честно говорит Савченко. — Потом проверили, через двое суток, и совпало.

— Вот так и пишем, — Тимка выводит буквы крупно, медленно. — «Двадцать второе, ноль два сорок. Короткие серии. Предположение — смена частот. Проверено двадцать четвёртого, совпало». А если бы не совпало?

— Тогда бы мы это вычеркнули, и было бы неправильно, — говорит Савченко. — Потому что тогда бы кто-то потом опять так же подумал и опять полез бы проверять, и потратил бы две ночи.

Тимка останавливает карандаш.

— Ты прав, — говорит он. — Пиши тогда и то, что не подтвердилось. Только отдельно.

Я стою в дверях и молчу. Иногда самое полезное, что может сделать командир, — это не заходить в комнату, где двое подчинённых как раз сейчас изобретают то, до чего он сам додумался бы к четвергу.

Литвинов приходит через час и приносит лист, на котором сам, правой рукой, начертил простую вещь: три колонки — факт, вывод, решение — и в них один живой пример, разобранный до конца.

— Вот это вклей, — говорит он Тимке. — Одну штуку. Не десять.

— А почему одну?

— Потому что десять примеров никто не прочтёт, а один прочтут все, и он покажет, как думать. Мы же не учебник пишем, мы пишем записку человеку, который придёт после нас.

Тимка клеивает.

К вечеру мы устраиваем проверку, и это моя идея, и она Тимке очень не нравится.

Я беру маленькую тетрадь и отношу её молодому радисту из третьего звена, Кирьянову, которого мы в глаза не посвящали ни во что.

— Прочти, — говорю я. — Читай вслух и говори, где непонятно. Не стесняйся: ты сейчас работаешь не на своё самолюбие, а на всех.

Кирьянов читает. Первые две страницы идут гладко. На третьей он спотыкается.

— «Ок. три вз», — читает он. — Это что?

— Окно три вечернее, — говорит Тимка от стены.

— А я подумал, «около трёх ватт».

Тимка открывает рот, чтобы возразить, и закрывает.

— Пиши словом, — говорю я.

— Это же длиннее.

— Это на четыре буквы длиннее и на одну ночь дешевле.

Он исправляет. На пятой странице Кирьянов спотыкается ещё раз — на слове «повторитель», которое Тимка сократил до «повт.», а Кирьянов, будучи человеком новым, повторителя вообще не видел и не знает, что это.

— Значит, будет схема, — говорит Тимка обречённо. — Нарисую, где он стоит и зачем.
— Не рисуй, где стоит, — говорит Литвинов. — Место мы меняем. Рисуй, зачем.

Толстые тетради и рулоны лент ложатся в отдельный ящик, и на нём Синицын, уже по всем правилам, пишет «к уничтожению» и добавляет свою подпись и дату, потому что без его подписи это будет не уничтожение, а пропажа.

Жечь мы их пока не жжём. Пока маленькая тетрадь не проверена трижды, толстые остаются на месте: сгоревшее не восстановишь, а недописанное — можно.

Вечером Тимка находит меня у капонира. Он мнётся.

— Товарищ старший лейтенант. Можно спросить дурацкое?

— Валяй.

— А если она будет, эта тетрадь... — Он крутит её в руках. — Ну, вот меня, допустим, спишут. По глазам. И им же тогда не нужен буду я. У них будет тетрадь.

Вот оно что.

Я сажусь на ящик, потому что колено, и потому что сидя такие разговоры получаются лучше.

— Тимка. Открой её. Найди мне в ней место, где написано, как отличить настоящую передачу от помехи по тону.

Он листает. Потом говорит:

— Такого нет.

— Почему?

— Потому что это... это не напишешь. Это слышишь.

— Вот и ответ. В тетради лежат условия: где, когда, что считали ответом. А слышишь ты. И объясняешь, как слышать, тоже ты, и вот это уже никакая бумага не унесёт, это только из человека в человека.

Он молчит.

— И если тебя спишут, — добавляю я, — а я надеюсь, что не спишут, ты будешь сидеть на земле и учить троих таких, как Кириянов. И толку от тебя будет втрое больше, чем от одного тебя в воздухе. Мне эта арифметика не нравится, но она верная.

Тимка кивает и уходит, и тетрадь он несёт уже не как улику против себя.

Причал у нас не причал, а два деревянных пирса и обвалившийся каменный мол, и от аэродрома до него семь километров по дороге, из которых километра полтора идут открытым местом.

Федя берёт эти семь километров себе, потому что руками он сейчас всё равно не работник, а ногами — вполне.

В первый раз еду с ним на подводе: после осмотра Лида запретила мне длинные переходы. Дальше Федя ходит сам.

Выезжаем с рассветом, вчетвером: Федя, я, местный хуторянин Юхан со своей подводой и сыном, и Петрович — возчик из БАО, седой, жилистый, с вечной самокруткой, которую он не курит, а держит в зубах.

Юхан по-русски говорит медленно, подбирая слова, зато показывает руками так, что перевода не требуется.

— Тут, — говорит он на первом повороте, — тут телега и телега не разойдутся. Тут одна стоит, одна идёт.

— Насколько узко? — Федя меряет шагами. — Восемь шагов.

— Восемь шагов, и канава, — соглашается Юхан. — В канаву колесо — всё, стоим.

— Значит, на этом месте будет человек, — говорит Федя. — Один. С флажком или просто с рукой. Придержал — пустил.

— Хорошо.

Дальше дорога выходит из-под деревьев, и открывается то, что мне сразу не нравится: ровный луг, поворот и за поворотом вид на воду.

— Вот здесь плохо, — говорю я.

— Почему? — спрашивает Федя.

— А ты встань и посмотри вверх.

Он встаёт и смотрит вверх. И вниз, в сторону моря. И начинает понимать.

— Отсюда видно причал, — говорит он. — Значит, люди дойдут сюда и остановятся. Они будут смотреть, есть ли пароход.

— Именно. И собьются в кучу на открытом месте.

— А если...

— Никаких «если». Люди всегда останавливаются там, откуда впервые видно цель. Это не трусость и не глупость, это устройство головы.

Мы проверяем это в тот же день, и проверка выходит неприятно наглядной.

Федя берёт пробную группу — двенадцать человек из БАО, которым сказано только «пройти маршрут», — и пустую подводу. Мы с Петровичем едем сзади и смотрим.

На узком повороте всё получается: один придерживает, телега проходит, люди идут гуськом.

А на открытом лугу происходит ровно то, что мы говорили: первый человек, выйдя из-под деревьев, видит воду и пирс, останавливается и оборачивается на остальных. Через тридцать секунд вся группа стоит кучей в восемь метров шириной, курит, переговаривается и разглядывает горизонт. Подвода стоит рядом.

Федя смотрит на часы.

— Две минуты стоим, — говорит он. — Две минуты двадцать. Товарищ старший лейтенант, они же так и будут стоять, пока кто-нибудь не крикнет.

— Крикни.

Он кричит. Группа идёт дальше.

— И что, — говорит Федя, когда они уходят, — при каждой партии я тут буду стоять и кричать?

— Можешь стоять. Можешь придумать так, чтобы кричать не надо было.

Он ходит по лугу минут десять — туда, сюда, приседает, смотрит вдоль. Потом говорит:

— А если ждать не здесь?

— Где?

— Вон там, — он показывает на ольшаник шагах в сорока в сторону, за каменной оградой старого поля. — Оттуда воды не видно. Вообще ничего не видно. Мы сажаем людей туда и говорим: сидите, вас позовут. И ставим человека вперёд, на край, вот сюда. Он видит дорогу до самого пирса и видит, что там делается. Он один стоит на открытом, не двенадцать.

— И как он позовёт?

— Ногами, — говорит Федя. — Сорок шагов. Он не орёт, он приходит и говорит: следующая десятка.

Юхан слушает и кивает.

— Хорошо место, — говорит он. — Там сухо. И ветра нет.

Мы пробуем ещё раз, уже с ольшаником, и на этот раз всё выходит иначе: группа доходит до развилки, проводник заводит их за ограду, они садятся; проводник уходит вперёд; через четыре минуты возвращается и уводит шестерых.

Шестеро идут по открытому месту, растянувшись, и это уже совсем другая картинка сверху. Это не «скопление людей». Это шесть отдельных точек, идущих по дороге, каких на любом острове десятки.

— Записывай, — говорю я Феде. — Сколько человек в партии, сколько между партиями.

— Шесть. И... три минуты?

— Почему три?

— Чтобы предыдущие успели уйти с открытого.

— Проверь.

Он проверяет и получает четыре с половиной.

Дальше вылезает вторая вещь, о которой я, к своему стыду, подумал не первым.

К полудню пробная группа возвращается, и один из бойцов, мосластый малый по фамилии Дорош, говорит Феде с обидой:

— Слышь, а долго так ждать? Мы там сидим в кустах, а на пирсе, между прочим, кухня стоит. Оттуда пахнет.

Мы с Федей переглядываемся.

— Пахнет? — переспрашивает он.

— Ну а как же, — говорит Дорош. — Повара с утра там.

Федя открывает рот. Закрывает. Потом говорит совершенно бесцветным голосом:

— Товарищ старший лейтенант, они пойдут на запах. Все. И будут стоять у кухни на самом открытом месте, какое только есть на этом острове.

— Пойдут, — соглашаюсь я. — И никакой проводник их не удержит, потому что человек, который двенадцать часов не ел, слушается не проводника.

Решение находится за десять минут и стоит одного разговора с Шевчуком, который сначала возмущается, потом задумывается, а потом говорит фразу, за которую я его люблю:

— Так мне же наоборот удобнее. У пирса меня ветром продувает, а в кустах тихо.

Кухню — вернее, один котёл и бак с кипятком — переносят к ольшанику. Туда же приносят воду. И теперь конструкция замыкается: люди приходят в укрытие, там их кормят, там они ждут, и никому не нужно идти к воде раньше времени.

К вечеру Федя проводит третью пробу — с двумя подводами, с ранеными, которых изображают выздоравливающие, с полной цепочкой.

И вот тут он впервые за день ошибается, и ошибается красиво.

Он ставит проводником человека, который до этого весь день ходил с нами и знает маршрут, — и забывает, что этот человек должен уйти вперёд и не вернуться, потому что его партия доходит до пирса, а там его берут в работу грузить.

Через двенадцать минут в ольшанике сидят восемнадцать человек и никто за ними не приходит.

— Сломалось, — говорит Федя, когда мы это обнаруживаем. — Товарищ старший лейтенант, у меня вся цепь развалилась из-за одного человека.

— Из-за какого?

— Из-за того, кто ушёл и не вернулся.

— Значит, что нужно?

Он думает. Ему трудно думать, потому что он злится на себя, а злость — плохой советчик.

— Нужно, чтобы проводник не доходил до пирса, — говорит он наконец. — Пусть доходит до предпоследнего места. Вот до того камня. А оттуда до пирса ведёт уже другой, который всё время там.

— И сколько тогда проводников?

— Двое на участок. Один — от укрытия до камня, второй — от камня до пирса. И первый всё время ходит туда-сюда, как... — он ищет слово, — как челнок.

— Как челнок, — соглашаюсь я. — Запиши это слово, оно понятное.

Он записывает левой рукой, коряво, но записывает.

Уже в сумерках мы доходим до самого пирса. Море шумит негромко, между досками плещет чёрная вода, и пахнет водорослями и мазутом.

Федя доходит до края пирса, останавливается в двух шагах от него и дальше не идёт.

Я стою рядом и молчу.

— Я плавать не умею, — говорит он наконец, глядя в воду. — Совсем. Ни разу не научился.

— Знаю.

— Откуда?

— На плоту сказал. Когда из утонувшей машины выбрались.

— А, — говорит он. — Ну да.

Он ещё немного смотрит на воду.

— Смешно, — говорит он. — Я в люке сижу над морем по четыре часа и ничего. А тут вот стою на досках и думаю: вот это подо мной, и оно везде.

— Не смешно, — говорю я. — В воздухе у тебя работа и установка. А тут работы нет.

— Так придумайте мне тут работу.

— Уже придумал. С завтрашнего дня ты у меня старший по этой дороге. От укрытий до камня. Людей возмёшь сам.

Он поворачивается, и в сумерках видно, что ему стало легче.

На обратном пути нас догоняет человек в морской фуражке — тот самый, чьего слова мы все ждём, интендант причала Кравцов, невысокий, быстрый, с усталым и крайне неприветливым лицом.

— Это ваши тут ходят? — спрашивает он вместо приветствия.

— Наши.

— Зачем?

— Готовим порядок подхода к погрузке, — говорю я. — Чтобы, когда придёт транспорт, у вас на пирсе не стояло двести человек сразу.

Он смотрит на меня внимательно и, что интереснее всего, без раздражения.

— Порядок — дело хорошее, — говорит он. — Я вам только одну вещь скажу сразу, чтобы вы потом на меня не смотрели вот так, как вы сейчас смотрите. Тоннажа у меня нет.

— Совсем?

— Совсем. У меня есть бумага, что он будет. Сколько и когда — не знаю. Может, придёт баржа и возмёт триста человек. Может, придёт катер и возмёт сорок. И тогда весь ваш порядок, — он щёлкает пальцем по воздуху, — превратится в то, во что всегда превращается, когда на сорок мест приходят триста.

— Понимаю.

— Ни черта вы не понимаете, товарищ лётчик, — говорит он, но без злобы, а с той серой усталостью, за которой стоит что-то уже виденное. — Вы летаете, вам проще. У вас место на борту одно и оно ваше. А у меня будет стоять полк и смотреть, как я поднимаюсь по трапу, чтобы пересчитать людей.

Он уходит. Федя смотрит ему вслед.

— Злой, — говорит он.

— Не злой. Он уже видел, как это бывает.

— А будет?

Глава 2



— Будет, — говорю я. — Обязательно будет. Наша с тобой дорога не отменяет давки на пирсе. Она только даёт нам право прийти к нему со списком и сказать: вот эти четверо — носилочные, вот этот ящик — мерительный инструмент, вот это — люди, без которых на новом месте не полетит ни один самолёт. Он нам не обязан. Но с этим разговаривать можно, а с криком — нельзя.

В конце этих приготовлений, когда всё разложено, переписано, пройдено и проверено, я иду в санчасть, чтобы отдать Лиде список сопровождающих, и застреваю там до полуночи.

Началось с малого.

Я отдаю ей бумагу, она читает, кивает, и в этот момент с ближней койки говорят:

— Товарищ командир. Извиняюсь.

Я поворачиваюсь. На койке лежит радист Полищук, тот самый, с того аварийного борта, который в августе притёрся на мягкий грунт у нашей полосы. У него обожжены обе кисти, и руки лежат поверх одеяла в бинтах, как две большие белые варежки.

— Что тебе?

— Написать бы, — говорит он. — А то я уже третью неделю тут. Дома не знают.

— Сейчас.

Я сажусь на табурет, достаю карандаш и беру бумагу у Лиды.

— Кому?

— Матери. Мироновой Прасковье Ильиничне. Деревня Заозерье, Калининской.

— Диктуй.

Полищук набирает воздуха.

— Здравствуй, дорогая мамаша, — говорит он бодро. — Сообщаю, что жив и здоров, чего и вам желаю. Служба идёт хорошо. Кормят хорошо. Обо мне не беспокойтесь.

Я пишу.

— Всё? — спрашиваю.

— Всё... — Он замолкает. — Нет, не всё. Напишите ещё: пусть Звёздку не режут, пусть подождут до весны.

Карандаш останавливается сам.

— Звёздку, — повторяю я. — Это кто?

— Коза, — говорит Полишук. И вдруг добавляет с беспокойством: — Вы точно так и напишите — Звёздка. Не «коза». А то мамаша решит, что это не я диктовал.

Вот оно.

Я кладу карандаш и разворачиваюсь к нему как следует.

— погоди, — говорю я. — Давай медленно. Ещё что-нибудь такое есть? Чтобы она по одному слову поняла, что это ты?

Полишук задумывается. И вдруг оживает весь — лицо становится другое, моложе.

— Есть, — говорит он. — Напишите: сено на повети перекладывать не надо, я приеду — сам. Она поймёт. У нас повить — это сеновал над двором, а в письмах-то пишут «сеновал», и она мне всегда говорила: что ты, мол, как чужой пишешь.

Я вычёркиваю «Служба идёт хорошо, кормят хорошо» — вернее, не вычёркиваю, а переписываю всё заново, и на этот раз письмо получается короче и живее.

«Здравствуй, мамаша. Я жив. Руки обжёг, лечат, заживает. Писать сам пока не могу, диктую товарищу. Звёздку не режьте, дождитесь весны. Сено на повети не перекладывай, я приеду — сам».

Я читаю ему вслух.

Полишук слушает, и у него дёргается кадык.

— Вот, — говорит он. — Вот теперь как надо.

— Подписать не сможешь?

— Куда мне.

— Тогда так, — говорю я и пишу внизу: «Писал под диктовку Полишука старший лейтенант Иванов. Руки у него заживают, пишет он вам правду».

Лида проходит мимо, заглядывает через плечо и молча кивает.

На соседней койке лежит Мельников, зенитчик, контуженный при налёте. Он всё слышал и теперь смотрит на меня выжидательно.

— Тебе тоже?

— Мне тоже. Только мне по-другому.

— Как?

— Как положено, — говорит он твёрдо. — По-военному. А то у меня жена нервная, ей чем меньше подробностей, тем лучше.

— Диктуй.

— Настоящим сообщаю, что нахожусь на излечении в медицинском учреждении по месту службы. Состояние удовлетворительное. Опасности для жизни нет. Прошу не беспокоиться.

Я пишу слово в слово. Потом читаю вслух, ровным голосом, как читают приказ.

Мельников слушает своё письмо, и лицо у него постепенно вытягивается.

— Гм, — говорит он.

— Что?

— Как-то оно... — Он морщится. — Как из военкомата.

— Так ты и просил.

— Просил, — соглашается он. — А послушал — и она ж от такого вообще решит, что я помер, а это кто-то другой пишет.

— Добавим?

— Добавьте, — говорит он с неожиданным отчаянием. — Добавьте: Зинка, борщ у тебя всё равно хуже моего, и когда вернусь, я тебе это докажу. И пусть не смеет солить капусту без меня, у неё вечно пересол.

Я пишу и стараюсь не улыбаться, потому что человек всерьёз.

— Вот теперь, — говорит Мельников, откидываясь, — теперь она поверит.

Третий — молодой сапёр Кузьмин, у которого нога в лубке от бедра. Он не диктует. Он лежит и смотрит в потолок, и когда я подхожу, говорит:

— Не надо.

— Почему?

— А что я напишу? Что ногу мне, может, отрежут?

Я сажусь. Лида, проходя, чуть заметно качает мне головой: не отрежут. Но говорить об этом сейчас я не буду, потому что «врач сказал, что всё будет хорошо» — это фраза, после которой человек перестаёт верить вообще всему.

— Напиши что есть, — говорю я.

— А что есть?

— Что ты живой. Что ты в госпитале. Что нога перебита и лежишь. И всё. Твоя мать не дура, она и так знает, что на войне ломают ноги. Она сейчас не знает другого: жив ты или нет. Вот это ей и скажи.

Кузьмин долго молчит.

— Пишите, — говорит он. — «Мама, я живой. Лежу. Ногу перебило, но она при мне. Не приезжай, не надо, тут нельзя. Я напишу ещё».

Я пишу.

— Подпишешь?

— Подпишу.

Я подсовываю под лист крышку планшета и держу её над его грудью под удобным углом. Кузьмин опирает локоть на матрас, берёт карандаш и выводит фамилию — криво, буквы валяются, последняя уползает вниз. Смотрит на неё.

— Как курица, — говорит он.

— Зато твоя.

К полуночи писем набирается девять. Лида отдаёт их почтарю — маленькому тихому человеку с сумкой, которого на аэродроме зовут просто Митричем, — и он укладывает их так бережно, что мне на секунду становится неловко за собственную привычку думать о нём как о «почте».

Потом Лида выходит на крыльцо, и я выхожу следом, потому что уходить сразу было бы неправильно.

Ночь холодная, звёздная, с той резкой чистотой, которая бывает у моря в конце августа и от которой сразу понятно: тепла больше не будет.

Она садится на верхнюю ступеньку, опершись спиной о косяк, и с полминуты просто дышит.

— У вас здорово получается, — говорит она.

— Что?

— Письма. Я много раз видела, как это делают. Обычно пишут за человека, а вы пишете человека.

— Это не доблесть. Это профессия.

— Какая?

Я чуть не отвечаю правду: у меня за плечами целая жизнь, дочь и внучка, письма из командировок и такие звонки домой, после которых час сидишь, держа погасший телефон. Я давно знаю, как звучит казённое «всё хорошо» для человека, который ждёт собственного имени и знакомого слова.

— Командирская, — говорю я вместо этого. — Ты сто раз в жизни говоришь чужим людям вещи, которые им важнее, чем тебе. Привыкаешь искать слово.

Лида молчит. Потом спрашивает — просто, без нажима, глядя не на меня, а во двор:

— А вам кто пишет?

И вот тут внутри у меня делается пусто.

Не больно. Именно пусто — как бывает, когда шагнул на ступеньку, которой нет.

Потому что мне никто не пишет, и написать мне некому, и всё, что у меня есть, — это две семьи, из которых одна существует за десятилетиями, которые ещё не наступили, а вторая принадлежит парню, в чьём теле я живу, и я даже не знаю толком, какая у него мать.

Я вижу, как она ставила чайник на левую конфорку, потому что правая грела хуже. Вижу дочь на табурете с учебником и внучку, которая ревет над разбитой коленкой. Всё это было и ничего этого нет, и хуже всего то, что это даже не «потерял» — это «ещё не случилось».

Я вдыхаю холодный воздух и держу паузу ровно настолько, чтобы она не стала заметной.

— Мне пишут мало, — говорю я.

Лида поворачивает голову.

— Вы сейчас выбрали слова, — говорит она.

— Выбрал.

— Зачем?

— Потому что честного короткого ответа у меня нет, а длинный я вам не подниму.

Она не обижается. Просто ждёт. У неё хватает выдержки ждать, и это, пожалуй, самое неудобное её качество.

— Хорошо, — говорю я. — Скажу то, что могу сказать. После госпиталя у меня в голове дырки. Не в памяти на дело — дело я помню лучше, чем до. А вот личное... Личное лежит кусками. Я знаю, что человек мне близкий, и не могу вспомнить, как он смеётся. Знаю имя и не помню, какое у нас с ним было слово вместо «здравствуй».

Это правда. Не вся, но ни в одном слове не ложь, и меня от этого отпускает.

— Такое бывает, — говорит Лида ровно, врачебно. — Чаше, чем думают. И проходит не у всех.

— Вот и я про то.

— А девушка?

Я смотрю на неё.

— Какая девушка?

— Иванов, — говорит она с усталым терпением. — У вас в планшете лежит фотография, а под ней письмо, сложенное вчетверо, у которого края обтрепались, потому что вы его сто раз доставали и клали обратно. Я его видела дважды: когда вас привезли и когда вы у меня на столе выворачивали карманы, потому что искали таблетки.

Ну конечно.

— Да, — говорю я. — Есть письмо.

— Вы на него не ответили.

— Нет.

— Сколько уже?

— Долго.

Она не спрашивает «почему». Она молчит, и в этом молчании мне приходится ответить самому.

— Я боюсь ей написать, — говорю я. — И это не то, о чём вы подумали. Я не боюсь, что она не ответит. Я боюсь написать ей то, чего я не чувствую.

— Не понимаю.

— Ну вот смотрите. Что пишут в таких письмах? «Родная моя, вспоминаю каждый день».

— Я усмехаюсь. — Я могу это написать. У меня рука напишет сама, я же только что девятерым

писал. И она это прочтёт и поверит. А потом, — я останавливаюсь, подбирая, — а потом окажется, что я написал ей то, что положено писать, а не то, что есть. И она будет год жить внутри моего письма. И это будет подлость похуже, чем не написать вовсе.

Лида долго не отвечает.

— А что есть? — спрашивает она наконец.

— Не знаю, — говорю я честно. — В том и дело. Я знаю, что этот человек мне не чужой. Я знаю, что она ждёт. А больше внутри пусто, и я не хочу заливать эту пустоту красивыми словами.

— Вы её жалеете.

— Я её боюсь обидеть.

— Это разное, — говорит Лида. — Жалют — сверху. Боятся обидеть — наравне.

Она подтягивает колени и обхватывает их руками, и в этой позе делается очень молодой, что странно, потому что днём она старше нас всех.

— Иванов, — говорит она. — Я вам сейчас дам совет, которому сама не следую. Считайте, что я предупредила.

— Слушаю.

— Напишите ей, что вы живы.

— И всё?

— И всё. Не «люблю», не «вспоминаю», не «жди». Только: я жив, я здесь, мне трудно писать, я напишу ещё. Это не обещание. Это факт. Вы же сами всех тут учите отличать факт от вывода — вот и напишите факт.

Я думаю над этим.

— А если она прочтёт между строк больше, чем там есть?

— Прочтёт, — говорит Лида. — Обязательно прочтёт, все читают. Но между строк — это уже её работа, а не ваша ложь. Вы отвечаете за то, что написали, а не за то, что она придумала. Иначе вообще никому ничего писать нельзя.

Она права, и это неприятно так же, как всякая правота, до которой ты не додумался сам.

— А вы почему не следуете? — спрашиваю я.

— Потому что у меня мать в Ленинграде, — говорит она. — И я ей не писала одиннадцать дней.

— Почему?

— Потому что я не знаю, что там сейчас, — говорит Лида. — И я врач, а значит, я знаю слишком много про то, что бывает с людьми, и мне это мешает писать простое. Я сажусь и понимаю, что напишу ей или вранье, или медицину. И встаю.

Мы сидим молча. Где-то за землянками кто-то негромко пилит доску, и звук идёт ровный, домашний, совершенно не военный.

— Значит, так, — говорит Лида и встаёт, отряхивая юбку. — Я сегодня напишу матери. Три строчки. Жива, работаю, целую. А вы напишете, что живы. И мы с вами оба перестанем быть умными людьми, которые ничего не делают.

— Договорились.

— Не «договорились», Иванов. У меня смена, я пошла. Про вас проверю завтра.

— Проверите как?

— Спрошу, — говорит она. — И по лицу пойму.

Она уходит внутрь, и дверь хлопает, и за дверью сразу слышно, как она кому-то говорит: «Лежите, лежите, я сама».

Я остаюсь на крыльце один.

Достаю планшет. Вынимаю из него две вещи.

Фотография — маленькая, с неровно обрезанным краем. Девушка стоит у забора, щурится от солнца, руки опущены и сцеплены впереди. Я смотрел на неё, наверное, раз пять-

десять и каждый раз ждал, что сработает то же, что срабатывает в руках: что тело вспомнит раньше меня. Руки помнят, как брать штурвал. Ноги помнят, где педали. А вот это лицо тело не помнит никак, и это, если честно, единственное, что по-настоящему пугает меня в моём положении.

Письмо лежит под ней — сложенное вчетверо, с обтрёпанными сгибами.

Я его не читал.

Я говорю себе, что не читал из порядочности, и это наполовину правда. Вторая половина проще и хуже: пока я его не открыл, я ничего ей не должен. Открою — и там будут её слова, её голос, её конкретные вопросы, на которые я не смогу не ответить.

Сегодня я его тоже не открываю.

Но я достаю из планшета чистый лист, разглаживаю его на колене, складываю вчетверо — точно так же, по тем же линиям, — и кладу вместе с письмом, под фотографию.

Пусть лежат рядом.

Я ещё не знаю, что ей напишу. Но теперь у меня в планшете лежит бумага, специально сложенная под ответ, и это уже не ноль.

Я застёгиваю планшет, спускаюсь с крыльца и иду через двор к своей землянке. Колено ноет ровно, как заведённое. Над морем стоит чистая холодная темнота, и в этой темноте, за сорока километрами воды, сейчас тоже кто-то не спит и тоже раскладывает по кучам то, что можно унести.

На материке, в двухстах с лишним километрах от Кагула, в кабинете бывшей школы, где на стене осталась карта чужой губернии и след от снятого портрета, обер-лейтенант Кирхнер раскладывает на столе фотографии.

Ему двадцать девять лет, он близорук и носит очки в тонкой оправе, которые снимает каждый раз, когда берёт лупу. В комнате пахнет мокрой штукатуркой и керосином. За окном мелко сеет дождь.

Фотографий восемь, сделаны за последнюю неделю. Кирхнер не любит слово «доказательство»; он любит слово «согласованность». Он выкладывает снимки в два ряда и водит лупой.

На первых двух — остров: серые поля, лес, полосы дорог. На третьем — то, что в штабе называют аэродромом Кагул и что на снимке выглядит как большой неровный луг с двумя свежими шрамами и несколькими тёмными подковами капониров. Ни одного самолёта на открытом месте. Ни одного.

— Опять пусто, — говорит Кирхнер.

Фельдфебель Драйер, сидящий у дверей с папкой на коленях, поднимает голову.

— Так точно. Четвёртый снимок подряд.

— Что говорят посты слухового наблюдения?

Драйер листает.

— Двадцать восьмого — три прохода ночью, по звуку одиночные. Двадцать девятого — один. Тридцатого — ни одного за ночь, утром два, оба в стороне, южнее. Тридцать первого — один.

— Убывает.

— Убывает, господин обер-лейтенант.

Кирхнер придвигает четвёртый снимок — порт. Здесь интереснее: у причалов пусто, но на молу видны штабеля и свежая колея, и одно небольшое судно, снятое на выходе.

— Вывозят, — говорит он.

Он произносит это спокойно, как человек, который получил ожидаемое подтверждение. Три недели назад он написал в сводке, что противник на острове будет вынужден начать эвакуацию по мере ухудшения снабжения, и теперь снимок вежливо подтверждает его правоту.

Это приятно. Кирхнеру нравится быть правым за две недели вперёд; он считает, что в этом и состоит работа разведки.

— Приложите к сводке, — говорит он. — И отметьте: интенсивность ночных вылетов с острова снизилась втрое за неделю. Авиация, по всей видимости, выведена или выводится.

Драйер записывает. Карандаш у него тупой, он слюнит его и пишет дальше.

— Господин обер-лейтенант.

— Да?

— Разрешите отметить одно обстоятельство.

Кирхнер снимает очки, трёт переносицу и надевает их обратно. Он не любит, когда Драйер начинает с «одного обстоятельства», потому что за этим обычно следует мелочь, которая портит ровную картину, и потому что Драйер, в отличие от него, служит с тридцать шестого года.

— Отмечайте.

— В ночь удара по площадке снабжения южнее Пяру, — говорит Драйер, сверяясь с донесением. Там горело топливо. Две ёмкости. Сгорело всё, что было в них, плюс то, что растеклось.

— Это по донесению интендантской службы, — говорит Кирхнер. — Они относят это к диверсии.

— Они относят это к диверсии, потому что им так удобнее, — говорит Драйер ровно. — А посты в ту ночь слышали одиночный самолёт, идущий с северо-запада. И зенитчики докладывали по нему огонь. И наш ночной истребитель имел с ним встречу в двадцати минутах к западу, над водой.

— Результат?

— Результата нет. Он доложил, что противник ушёл в облачность и что удержать его не удалось.

Кирхнер молчит. Он берёт лупу и снова смотрит на снимок луга с двумя шрамами.

Луг пуст. На лугу нет ни одного самолёта.

Это, разумеется, не значит, что их нет вовсе — Кирхнер прекрасно понимает, что такое капониры и маскировка, и в его сводках даже есть об этом отдельная оговорка, которую он честно пишет каждый раз. Но одна оговорка среди двадцати строк весит ровно столько, сколько весит одна оговорка. А три недели убывающих цифр весят как тенденция, и в штабе, где сейчас думают о другом, читать будут именно тенденцию.

— Хорошо, — говорит он. — Ваше замечание я внесу. Отдельным пунктом: отмечены единичные ночные действия авиации противника с острова, вероятно, остаточными силами.

— «Вероятно, остаточными», — повторяет Драйер без выражения.

— Вы полагаете иначе?

Драйер смотрит в свою папку.

Он мог бы сказать, что человек, который ночью нашёл во всём прибрежном хозяйстве именно склад горючего, а не палатки и не штабные домики, вряд ли относится к остаточным силам. Он мог бы сказать, что пустой луг — это не аэродром без самолётов, а аэродром с дисциплиной. Он даже мог бы сказать, что в тридцать девятом году он уже видел, как убывающие цифры на бумаге оканчивались очень неприятным утром.

Но обер-лейтенант Кирхнер составляет сводку для штаба, а штаб сейчас занят не островом вообще, а конкретными вещами: парами, которые собирают в двух гаванях, саперным имуществом, сроками, расчётом волн высадки и погодой в проливе. И в этой работе гораздо удобнее иметь остров, с которого авиация уже уходит, чем остров, с которого она всё ещё летает.

Драйер закрывает папку, оставив палец на листе с донесением истребителя.

— Никак нет, — говорит он. — Я только отмечаю.

— Отметили, — кивает Кирхнер. — Благодарю.

Он складывает снимки в папку, завязывает тесёмки и идёт по коридору в соседнюю комнату, где над большим столом склонились двое: капитан-лейтенант, отвечающий за паромы, и сапёрный майор.

На столе лежит карта пролива, исчерченная карандашом, и поверх неё — расчёт по времени: сколько минут займёт переход, сколько будет длиться выгрузка на первом участке, сколько людей примет каждый паром.

— Что с воздухом? — спрашивает капитан-лейтенант, не поднимая головы.

— Снижается, — говорит Кирхнер и кладёт папку на угол стола. — За неделю втрое. Снимки площадки пустые четыре раза подряд. Порт работает на вывоз.

— То есть?

— То есть, по совокупности данных, их авиация выводится, — говорит Кирхнер. — Я бы рекомендовал основное внимание при подготовке уделить береговым батареям и дорогам, а не воздушной угрозе.

Капитан-лейтенант кивает и что-то помечает.

Сапёрный майор, человек грузный и медленный, проводит пальцем по карте вдоль южного берега.

— А если всё-таки прилетят? — спрашивает он.

— Прилетят — значит, одиночные, — говорит Кирхнер. — Одиночные ночью по нашим паромам не попадут.

Майор хмыкает. Он служил на Западе и один раз видел, что бывает, когда одиночный ночной самолёт всё-таки попадает; но он видел и то, что бывает, когда штабной спор об авиации затягивается на три дня, и поэтому он ничего не говорит.

— Хорошо, — говорит он. — Тогда считаем дороги.

Драйер выходит в коридор, останавливается у окна и закуривает.

Дождь идёт мелкий, ровный, бесконечный. За мокрым стеклом двор, две машины, солдат с ведром.

Он думает о человеке, который в ту ночь ушёл в облачность.

Он не знает ни его имени, ни возраста, ни того, что этот человек в ту же ночь считал остаток горючего и решал, сколько минут можно позволить себе просидеть внутри мокрой серой ваты. Он знает только, что кто-то там есть и что этот кто-то умеет находить в темноте не палатки, а цистерны.

Фельдфебель Драйер докуривает, тушит окурок в жестяной банке на подоконнике и садится к машинке печатать сводку набело, добавив в неё свой пункт — тот самый, отдельный, в одну строчку, — который будет добросовестно напечатан, подшит и никем не прочитан.

Глава 3



— Сколько машин? — спрашивает Плешаков.

Он спрашивает это так, будто мы обсуждаем завтрашний регламент, а не то, что я только что ему сказал. На столе перед ним лежит фанерка, на фанерке — лист, прижатый двумя гайками, потому что в землянке гуляет сквозняк и с утра открыта дверь: иначе не видно, свет один, лампа сдохла позавчера.

— Четыре, — говорю я. — Завтра три выпускаем по готовности на прикрытие последней колонны, четвёртая замыкает. Потом все на материк.

— Четвёртая — ваша.

— Моя.

Плешаков берёт карандаш, но не пишет. Смотрит на лист, где у него с ночи уже расписано моторное имущество по ящикам, и молчит секунд пять.

— Значит, так, — говорит он наконец. — Три колонки. Кто нужен до запуска. Кто после запуска идёт к грузовику. Кто принимает у причала.

— Третье зачем? У причала принимает флот.

— У причала принимает фамилия, — говорит Плешаков. — Иначе там будет куча ящиков и никого, кто знает, что в них.

Он прав, и это тот случай, когда правота приходит не из спора, а просто из того, что человек тридцать раз в жизни грузил имущество и двадцать девять раз потом искал его по чужим складам.

Мы садимся писать.

Это оказывается длиннее, чем я думал. На каждую машину до запуска нужны двое: моторист и оружейник, до ухода своего борта. После запуска моторист остаётся свободен и идёт к грузовику, но не раньше, чем командир машины махнёт рукой, потому что запуск — штука

такая: пока винт не вышел на устойчивые обороты, человек нужен у крыла. Значит, у грузовика этот моторист появится минут через двадцать после того, как мы его туда впишем. И если грузовик уйдёт по расписанию, он останется на поле с ведром и тряпкой.

— Сдвигаем грузовик, — говорю я.

— Не сдвигаем, — говорит Плешаков. — Ставим второй рейс. Сегодняшний в двенадцать берёт ящики. Завтрашний после запусков, предварительно в четырнадцать, — людей от машин.

— Полуторок две.

— Значит, одна сделает два конца. До южной гавани одиннадцать километров туда, одиннадцать обратно, по этой дороге — сорок минут в один конец, если не застрянет.

— А если застрянет?

— Тогда люди пойдут пешком, — говорит Плешаков ровно. — Только они должны об этом знать заранее, а не выяснять на пустом поле.

Он пишет. Почерк у него мелкий, бухгалтерский, с хвостиками. Я смотрю на это и думаю, что у нас в полку — в том, старом, где были компьютеры, планшеты и электронные ведомости, — точно так же всё в итоге сводилось к человеку, который от руки писал на бумажке, кто кого встречает.

— Ещё вот что, — говорю я. — Самолёт, который может уйти раньше, уходит раньше. Не ждём общего взлёта.

Плешаков поднимает голову.

— Это вы сами решили или вам приказали?

— Сам.

— Хорошо, — говорит он. — А то у нас в прошлый раз в июле ждали четвёртого, и все четверо стояли на поле лишний час.

— Вот и не ждём.

Мы доходим до второй страницы, и там начинается то, ради чего я, собственно, сюда пришёл.

— Оставь мне Гурьева, — говорю я.

Плешаков ставит точку и откладывает карандаш.

— Не оставляю.

— Мне до последнего запуска нужен человек у моторов. Кто-то же должен готовить последний запуск и провести пробу как положено, а не как получится.

— У вас будет Николаенко.

— Николаенко — хороший парень, но он на «тринадцатом» второй месяц. Гурьев его знает.

— Гурьев знает не самолёт, — говорит Плешаков. — Гурьев знает ящики. Он их паковал трое суток, он их подписывал, и у него в голове лежит, что в котором. Если он останется здесь, на материке будут вскрывать всё подряд под дождём, искать метчики, и через неделю у нас не будет ни метчиков, ни половины того, что мы вывезли.

— Один человек.

— Один человек — это и есть разница между имуществом и кучей, — говорит Плешаков. — Вы это знаете лучше меня, товарищ старший лейтенант, просто вам сейчас неудобно.

Мне неудобно.

Мне неудобно по совершенно конкретной причине, и она не имеет отношения к метчикам. Я сижу здесь и расписываю, кто уйдёт раньше, а сам остаюсь, и внутри у меня сидит противное ощущение, что я отправляю людей вперёд, а себе оставляю ту часть, которой потом можно будет гордиться. Это ощущение надо вытащить и назвать вслух, иначе оно начнёт принимать решения за меня.

Я отодвигаю лист к гайке, чтобы край не хлопал от сквозняка.

— Плешаков.

— Слушаю.

— Мне не нравится, что я их отправляю, а сам остаюсь.

Он смотрит на меня довольно долго — без всякого умиления, скорее с интересом энтомолога.

— А вы не остаётесь, — говорит он. — Вы задерживаетесь.

— Разница?

— Разница в том, что у вас вписан обратный маршрут. — Он стучит карандашом по листу. — Вот. Четвёртая машина, вылет,крытие, уход на материк. У вас есть строчка, по которой вы отсюда уедете. Если бы её не было, я бы вам сказал совсем другое.

— И что бы ты сказал?

— Что героизм — это когда у человека кончились варианты, — говорит Плешаков. — А когда варианты есть и человек их не пишет, это не героизм, это неряшливость.

Он возвращается к списку. Я смотрю, как он аккуратно вычёркивает Гурьева из левой колонки и вписывает в среднюю, и в этом вычёркивании больше заботы обо мне, чем в любых словах.

К десяти у нас готов лист, который можно показать людям. Двадцать три фамилии. Против каждой — три графы. В самом низу, отдельной строчкой, стоит моя, и в третьей графе у меня пусто, потому что принимать меня на материке пока никому.

Плешаков смотрит на эту пустую клетку.

— Впишем, — говорю я.

— Впишем, — соглашается он, и по голосу слышно, что он запомнил.

Гордеев находит меня у выхода, когда я уже натягиваю плащ-палатку. Он мокрый до пояса, злой и говорит без предисловий:

— На причале плохо.

— Насколько плохо?

— Настолько, что я туда посылаю тебя, а сам иду в штаб острова выбивать транспорт, — говорит он. — Там сейчас три службы и ни одного человека, который отвечает за всё сразу. Погрузкой командует Сазонов, каплей, мужик не худший, но у него наряд на боеприпасы и своя ведомость. Ковалёва там с утра, и я уже слышал, как она разговаривает.

— Она умеет.

— Она умеет так, что её через полчаса поставят к стенке за пререкания, — говорит Гордеев без улыбки. — Иванов. Ты едешь туда от группы. Что скажешь — то я подпишу. Но привези мне бумагу, а не рассказ.

— Понял.

— И вот ещё. — Он останавливает меня, уже когда я в дверях. — Ты помнишь, что у нас не стоит задача вывезти всех?

— Помню, — говорю я, продевая руку в мокрый рукав. — Мотористов и оружейников выведу. Но если у причала ещё можно взять раненых, пустые места вам назад не привезу.

Гордеев смотрит на меня секунду.

— Езжай, — говорит он.

Вчерашний семикилометровый путь к ближнему причалу теперь не годится: транспорт принимает южная гавань. До неё одиннадцать километров через можжевельник и два хутора, и первые три километра она ещё похожа на дорогу.

Дальше начинается сентябрь.

Полуторка идёт на второй, мотор воет, колёса месят жижу, и на каждом подъёме шофёр просит меня «подержаться крепче», после чего машину заносит кормой. Дождь мелкий и настойчивый, из тех, что не льёт, а просто существует. Колено у меня к этому времени уже

отработало своё: оно перестало болеть отдельно и теперь просто участвует во всём, что я делаю, как участвует в жизни старый долг.

Последний километр мы стоим.

Стоим потому, что дорога перед спуском к гавани забита подводами. Их семь, они стоят одна за другой, лошади опустили головы под дождём, на подводах — ящики под мокрым брезентом. Обогнуть нельзя: слева канава, справа откос.

И упирается в них, носом почти в задок последней подводы, санитарная машина с красным крестом на мокром боку.

Я вылезаю. Из-под брезента выглядывает Мищенко; он и ещё трое наших едут со мной помочь на погрузке. Велев им ждать у машины, иду вперёд пешком.

Голос Лиды я слышу метров за двадцать.

— ...Я не спрашиваю, чей приказ. Я говорю, что у меня в кузове человек, которому нельзя лежать под дождём ещё час.

— Не могу, товарищ военфельдшер.

— Ты можешь отвести одну подводу на двадцать шагов.

— Не могу.

Старшина, который это говорит, стоит посреди дороги с карабином за спиной и в мокрой шинели, и по его лицу видно, что он говорит «не могу» в двадцатый раз и уже не слышит собственных слов. Ему лет двадцать пять, у него неподвижное, упрямое, несчастное лицо человека, поставленного на невыполнимое дело.

Лида стоит перед ним, маленькая, без плащ-палатки, в намокшей пилотке, и в ней сейчас столько ярости, что от неё, кажется, должен идти пар.

— Ковалёва, — говорю я.

Она оборачивается.

— Иванов. Хорошо, что вы. Объясните этому...

— Подождите.

Я подхожу к старшине. Он вытягивается, потому что видит шпалы... нет, не шпалы — кубари, я всё ещё старший лейтенант, и в этом теле мне всё ещё требуется секунда, чтобы вспомнить, какое у меня звание.

— Фамилия?

— Старшина первой статьи Байда, — отвечает он и отступает от попятившейся лошади. Узду перехватывает ездовой; Байда снова загораживает проезд.

— Байда, чей приказ?

— Начальника погрузки. Подводы не расцеплять, идут по ведомости, до разгрузки дорога закрыта.

— Приказ письменный?

Он мешкает.

— Устный.

— Хорошо, — говорю я. — Я тебя ни в чём не обвиняю, ты всё делаешь правильно. Стой здесь и никого не пускай. Я пойду к твоему начальнику.

Лида делает движение — пойти со мной. Я качаю головой.

— Оставайтесь.

— Иванов...

— Ковалёва, — говорю я тихо, чтобы слышала только она. — Если вы туда придёте со мной и скажете хоть одно слово из тех, которые вы сейчас держите во рту, я проиграю разговор за минуту. Не потому, что вы неправы. Потому что он тогда будет отвечать вам, а не считать.

Она смотрит на меня, и я вижу, как у неё ходят желваки.

— У меня там мальчик с животом, — говорит она. — Ему двадцать лет. Он не доедет до вечера.

— Знаю. Дайте мне двадцать минут.

— У меня нет двадцати минут.

— У вас их и не будет, если я сейчас пойду ругаться.

Она отворачивается и идёт к своей машине, и по спине видно, чего ей это стоит.

Гавань открывается сразу за спуском.

Это небольшая гавань, без всякой красоты: короткий каменный мол, деревянный причал на сваях, два пакгауза, из которых один без крыши, штабеля под брезентом, перевёрнутая шлюпка, лужи, мазут, водоросли. У причала стоит тральщик — бывший рыбак, переделанный, серый, с потёками ржавчины по клюзам, — и от него по мокрым доскам идёт цепочка людей с ящиками.

Людей на берегу много. Человек триста, может быть больше. Они стоят и сидят везде, где есть хоть какое-то укрытие: под стеной пакгауза, под перевёрнутой шлюпкой, под навесом, под собственными плащ-палатками. Отсюда, сверху, это выглядит не как очередь, а как расселившееся бедствие.

Сазонова я нахожу в пакгаузе без крыши, у стола, сколоченного из двух ящиков.

Капитан-лейтенанту лет тридцать пять. Он небрит трое суток, голос сорван, и говорит он полужёпотом, с присвистом, что придаёт всему, что он произносит, странную интимность. Перед ним лежит наряд — настоящий, с печатью, — и разграфлённый лист с цифрами.

— Кто? — спрашивает он, не поднимая головы.

— Иванов. От авиагруппы. По вопросам погрузки.

— По вопросам погрузки у меня очередь на два дня вперёд, — говорит Сазонов. — Встаньте в неё.

— У вас на дороге стоят семь подвод, а за ними санитарная машина.

— Знаю.

— И вы её не пропускаете.

— Не пропускаю, — соглашается он. — Потому что если я её пропущу, за ней пойдёт вторая, потом три полуторки, потом кто-нибудь погонит табун лошадей, и я к вечеру не разгружу подводы. А в подводах — боезапас по этому наряду, всего четырнадцать тонн с той частью, что уже в пакгаузе. — Он кладёт ладонь на бумагу, и я вижу, что рука у него дрожит от усталости. — Вот тут написано «доставить и погрузить». Вот тут подпись. И когда с меня спросят, куда делись четырнадцать тонн, я покажу эту подпись и скажу, что погрузил.

— А если не погрузите?

— Тогда я буду объяснять, — говорит он ровно. — И вы даже не представляете, как долго и кому.

Он поднимает наконец голову. Глаза у него красные, в углах — засохшая корка.

— Вы сейчас будете говорить мне про людей, — говорит Сазонов. — Не надо. Я про людей знаю. Я тут четвёртые сутки. Я вам скажу, чего вы не знаете: за вот эти четырнадцать тонн с меня спросят по ведомости лично. А за ваших островных техников с меня не спросят вообще, потому что они не мои. Они ничьи. У них нет ведомости.

Вот это честно.

Это настолько честно, что мне на секунду становится легче: с человеком, который сам назвал свою ловушку, можно работать.

— Товарищ капитан-лейтенант, — говорю я. — Я не буду про людей.

— Да?

— Я буду про тонны. Сколько берёт тральщик?

Сазонов смотрит на меня уже иначе.

— Вместе с тем, что уже в трюме?

— Всё вместе.

— По осадке — ещё тонн двадцать шесть. Если брать по уму — двадцать два.

— Сколько из них занято?

Он тянет к себе лист и ведёт пальцем.

— Четырнадцать — наряд. Продовольствие — три. Имущество связи — две с половиной.

— Итого девятнадцать с половиной. Осталось два с половиной.

— Примерно.

— «Примерно» — это сколько?

Сазонов молчит.

Вот она, трещина. Я её вижу и стараюсь не показать, что вижу.

— Вы считали наряд по ведомости, — говорю я. — Четырнадцать тонн — это по бумаге.

А по факту вы эти ящики взвешивали?

— Часть.

— Какую?

— Ту, что в первых двух подводах, и ящики в пакгаузе.

— И что там вышло?

Он снова молчит, и это молчание длится ровно столько, сколько нужно уставшему человеку, чтобы понять, что его сейчас поймают на том, о чём он и сам думал вчера ночью.

— Там вышло меньше, — говорит он. — На ящиках вес стоит с тарой старого образца. Реально меньше процентов на восемь. Может, на десять.

— Тонна с лишним.

— Может быть.

— Товарищ капитан-лейтенант, — говорю я. — Я предлагаю простую вещь. Мы с вами прямо сейчас, пока подводы стоят, делаем сверку ближайшего рейса. Не всей эвакуации, не на два дня вперёд. Одного рейса. Я вам считаю, что реально занято и что реально остаётся. И вы увидите свободный вес своими глазами, а не моими словами.

— А мне это зачем?

— Затем, что у вас сейчас в ведомости стоит «двадцать две тонны занято», а по факту может быть девятнадцать. И если вы уйдёте с недогрузом в три тонны, вам это тоже припомнят. Вы же не хотите объяснять ещё и это.

Он смотрит на меня секунд десять.

— Сколько вам надо времени?

— Сорок минут.

— У вас тридцать. — Он поворачивается к двери и говорит наружу, не повышая сорванного голоса: — Байда! Первые две подводы — вправо, к стене. Дорогу открыть на проезд одной машины. Одной, Байда. Я считаю.

Снаружи слышно, как кричат на лошадь.

— Санитарную пропустят, — говорит Сазонов мне. — И имейте в виду: я это делаю не потому, что вы меня разжалобили. Я это делаю потому, что вы первый за четверо суток пришли сюда с вопросом «сколько», а не с вопросом «как вам не стыдно».

Санитарная машина проходит мимо стоящих подвод так близко, что чуть не задирает брезент.

Лида успевает поймать меня за рукав на ходу.

— Тридцать минут, — говорю я.

— Я слышала. — Она уже другая: злость ушла внутрь и превратилась в скорость. — Мальчика я сгружаю в пакгауз, под крышу, и там разворачиваю приёмный пункт. Мне нужны носилки и четыре пары рук.

— Возьмите от нас Мищенко и ещё троих, они с грузовиком. Только не всех, у меня к вечеру должен остаться расчёт.

— Возьму двоих.

Тридцать минут — это очень мало, если разбирать склад, и очень много, если у тебя есть люди, которые знают, что в ящиках.

Оружейник Зубенко появляется через пять минут после того, как я за ним посылаю: невысокий, кривоногий, с вечно прищуренным левым глазом и манерой класть руку на ящик, прежде чем о нём говорить. За ним, отдуваясь, приходит кладовщик Прохоров, старшина с бумагами под мышкой и лицом человека, у которого сегодня отнимают всё.

Мы становимся втроём под навесом, где свалены ящики с первых двух подвод.

— Так, — говорю я. — Делим на три. Первое: то, что мы израсходуем сами до ухода. Это никуда не везём, это передаём к машинам. Второе: то, что материковые машины возьмут и применят. Это идёт рейсом. Третье: то, что не влезает и на материке не нужно. Это Ремизову на уничтожение, с актом.

Глава 4



— С каким актом? — сразу говорит Прохоров.

— С нормальным. Подпишем трое, приложим к ведомости.

Прохоров успокаивается. Ему не жалко имущества — ему страшно остаться с недостатчей, и слово «акт» для него означает то же, что для меня означает исправный мотор.

Дальше начинается работа.

Зубенко кладёт ладонь на каждый ящик и говорит — коротко, по делу. Вот эти — патроны, годятся всем, идут рейсом. Вот эти — осветительные, тяжёлые, на материке есть свои, и вообще их возить через море из-за трёх штук нет смысла; часть подвешиваем сегодня, остальное на уничтожение. Вот это — авиабомбы старой серии, под наши подвески подходят, но на материке этих подвесок нет; значит, либо тратим сегодня, либо уничтожаем.

— Сколько подвесим сегодня? — спрашиваю я.

— На четыре машины — вот это, вот это и вот это, — Зубенко считает, шевеля губами.

— Больше не возьмёте, вам ещё до цели дойти.

— Хорошо. Прохоров, пиши: израсходование по плану вылета.

— Пишу.

Через двадцать минут у меня на бумажке складывается почти красивая цифра.

— Прохоров, а вот это что? — я показываю на длинный штабель под отдельным брезентом.

— Упаковочный комплект, — говорит Прохоров. — Ящики с укупоркой, прокладки.

— Вес?

— Полторы тонны с лишним.

Полторы тонны. Это девять носилок. Или девятнадцать человек, если сидя.

— Списываем, — говорю я. — Всё. Ремизову.

Зубенко удерживает брезент, который Прохоров уже собрался набросить на списанный штабель.

— Нет.

— Что нет?

— Не всё, — говорит он и щурится на меня своим левым глазом ещё сильнее. — Товарищ старший лейтенант, вы сейчас вместе с укупоркой спишите мне взрыватели.

— Где там взрыватели?

— Вот здесь, — он сдвигает брезент. Под ним — маленькие ящички, аккуратные, совсем не похожие на всё остальное, уложенные в общий штабель просто потому, что кто-то когда-то так поставил. — Это идёт отдельной укладкой, а лежит в общей куче. Их вес — сорок килограммов на всё. А без них ваши материковые бомбы — просто чугун.

Прохоров придвигается, заглядывает под брезент и тут же зачёркивает начатую строку.

— Отдельной строкой проведу. Сорок, говоришь?

Зубенко поворачивает к нему клеймо. Я стою и смотрю на эти ящички.

В моей красивой цифре только что появилась дыра, и дыра появилась ровно там, где я, торопясь, махнул рукой на целый штабель. Если бы Зубенко сейчас промолчал — а он мог промолчать, потому что я старше по званию и потому что времени осталось восемь минут, — то через неделю на материке кто-то другой, ничего не зная про этот дождь и эти тридцать минут, снял бы бомбы с подвесок и пошёл искать взрыватели по всему фронту.

— Зубенко.

— Я.

— Спасибо.

— Да чего там, — говорит он и отворачивается, потому что не знает, что делать с благодарностью.

Мы перекладываем ящички отдельно, помечаем мелом и вычёркиваем сорок килограммов из списанного. Я пересчитываю освобождённый вес: получается не так красиво, как минуту назад, но зато это цифра, за которую я готов расписаться.

— Итого, — говорю я Сазонову, кладя ему на стол лист. — Наряд реально весит не четырнадцать тонн, а двенадцать восемьсот, вот пересчёт по взвешенным. Из него на уничтожение по акту уходит две тонны сто: вот перечень, вот подписи оружейника и кладовщика, вот основание — непригодность к применению на материковой матчасти. Расходуем сегодня — четыреста килограммов. Остаётся к погрузке десять тонн триста.

Сазонов читает. Читает внимательно, дважды, ведя пальцем.

— Три с лишним тонны, — говорит он.

— Три тонны семьсот дополнительно к прежнему свободному весу. По полной осадке остаётся проверить людей, крепления и проходы.

— И вы мне даёте бумагу, что я их не потерял, а списал.

— Даю. Ремизов подпишет уничтожение сегодня же.

Сазонов откидывается на ящике, и я вижу, как у него на секунду расслабляются плечи. Это не благодарность. Это то, чего он хотел четверо суток: чтобы с него сняли не работу, а ответственность за то, чего он всё равно не мог сделать.

— Сколько носилок влезет в три семьсот? — спрашивает он.

— Девятнадцать лежащих с сопровождением. Или девятнадцать лежащих и восемь сидячих, если брать по весу.

— Восемь сидячих я вам не дам, у меня проход.

— Значит, девятнадцать.

— Тринадцать, — говорит Сазонов. — Остальное — на крепление и на то, чтобы мои люди могли пройти к помпам. Я вам не трюм сдаю, я судно веду.

— Тринадцать, — соглашаюсь я.

Мы смотрим друг на друга через стол из двух ящиков.

— Иванов, — говорит он. — Вы понимаете, что мы с вами сейчас полчаса потратили на то, чтобы освободить места тринадцати людям?

— Понимаю.

— И что за эти полчаса мы не погрузили ни одного.

— Тоже понимаю.

— Ну хоть так, — говорит Сазонов и тянет к себе следующую бумагу. — Идите. И скажите своей военфельдшеру, что я не сволочь.

— Она сама поймёт.

— Не поймёт, — говорит он. — Но вы скажите.

Телефограмма приходит в четверть третьего, когда первые носилки уже поднесли к трапу.

Приносит её посыльный из штаба острова — мальчишка лет восемнадцати, промокший насквозь, с бумажкой в кармане, завернутой в клеёнку. Сазонов читает, и я вижу по его лицу, что всё, что мы сделали за утро, только что стало вдвое меньше.

— Баржа не придёт, — говорит он.

— Совсем?

— Буксир повредил винт на камнях у Сырве. Баржа стоит там же. Обещают завтра к вечеру, если снимут.

Завтра к вечеру. Мы оба знаем, чего стоит это «если».

— Что было на барже? — спрашиваю я.

— Сто двадцать человек и имущество связи.

Сто двадцать человек.

Они сейчас стоят внизу, под дождём, и ещё не знают.

— Хорошо, — говорю я. — Что у вас остаётся на сегодня?

— Тральщик — этот. Мотобот — придёт в шесть, возьмёт двадцать, не больше. И всё.

И тут же, не дав нам додумать, в пакгауз входит старший лейтенант, которого я до сих пор не видел.

Он высокий, худой, в новой шинели и с планшетом, и в руках у него — список. Уже по тому, как он держит этот список, я понимаю, что сейчас будет.

— Егоршин, рота связи островного узла, — представляется он. — Мне сказали, у вас освободился вес.

Вот так быстро. Ещё чернила не высохли.

— Освободился, — говорю я.

— У меня сорок человек. Из них двенадцать — линейные надсмотрщики и четверо — телеграфисты класса. — Он говорит быстро, чётко, заученно; видно, что эту фразу он произносит сегодня не в первый раз. — Их нельзя оставлять. Это не мои слова, это указание штаба.

Первое, что во мне поднимается, — очень простое и очень подлое: этот человек пришёл забрать место у моего раненого.

Я даю этому чувству подняться, посмотреть на себя и уйти обратно. У меня в прошлой жизни на такие движения уходили сутки и испорченные отношения; сейчас, слава богу, уходит секунд пять.

Потому что он прав. Телеграфист класса — это не абстракция. Это человек, которого учат два года и которого на материке будет не хватать ровно так же, как мне не хватает мотостригов.

— Товарищ старший лейтенант, — говорю я. — Ваши сорок человек ходячие?

Егоршин моргает.

— Все, кроме одного. У одного нога.

— Тогда садитесь, — говорю я и подвигаю ему третий ящик. — Мы вас никуда не вычёркиваем. Мы будем делить не места, а способы.

Он садится недоверчиво, как садится человек, готовившийся к драке.

Дальше я зову Лиду и боцмана, и следующие сорок минут мы вчетвером занимаемся тем, что в моей прошлой жизни называли бы распределением потоков, а здесь называется «кто чем поедет».

Лида приносит сводный список гавани — к её аэродромным прибавили раненых других частей — и раскладывает на ящике.

— Смотрите, — говорит она. — Тут не так, что «раненые — на судно». Тут по-разному. Вот эти четверо — грудь и живот. Их нельзя трясти и нельзя на высоту: у одного воздух в плевральной. Их только водой и только в тепле. Вот эти девять — конечности, они переносят всё, их хоть чем. А вот эти двое — черепные. Им лучше самолётом, потому что быстро, и хуже самолётом, потому что рвота и перепад. Я бы отправила водой, если вода — сегодня.

— Вода — сегодня.

— Тогда водой.

Боцман Гнатюк — коренастый, с изуродованным ухом и очень спокойный человек лет сорока — слушает и потом говорит:

— Тринадцать лежащих я приму. Но не в кучу. Вдоль борта по правому — шесть, по левому — пять, два в кормовом закутке. Больше не закреплю. А не закреплю — значит, на первой же волне они поедут.

— Качать будет?

— Три балла к ночи, — говорит Гнатюк. — Для вас — ничего. Для человека с животом — много.

— Сопровождающие?

— Двое пройдут. Троих не поставлю: они мне проход перекроют, а у меня в проходе — единственный выход наверх.

Егоршин слушает всё это молча. Я вижу, как у него меняется лицо: он пришёл требовать и попал в разговор, где никто ни с кем не торгуется, а все считают.

— Теперь вы, — говорю я ему. — Из штаба подтвердили сегодняшней ПС-84 к четырём: привезёт боеприпасы, обратно берёт людей. Двадцать одно место. Ваши ходячие туда войдут.

— Двадцать одно, а у меня сорок.

— Значит, двадцать сегодня, включая старшего, и двадцать завтра первым же бортом. Список на завтра составите сами, но не по фамилиям начальства, а по специальности: надсмотрщики и телеграфисты — сегодня.

— А если завтра борта не будет?

— Тогда будем добиваться для них следующего рейса мотобота или тральщика послезавтра, и они будут стоять в очереди раньше моих людей, потому что мои уже уедут. — Я разворачиваю к нему лист. — Вот. Пишу при вас.

Егоршин смотрит на строчку с его фамилией.

— И ещё одно, — говорю я. — В вашей двадцатке пойдёт человек, который отвечает за переключку. Не «старший группы для порядка», а человек со списком, который на поле их считает, в самолёте считает и на материке сдаёт по фамилиям. Кто?

— Старшина Дробот.

— Он грамотный?

— Он мне ротную ведомость ведёт третий год.

— Тогда Дробот.

Егоршин уходит через десять минут, и на выходе оборачивается.

— Я думал, будет хуже, — говорит он.

— Подождите до вечера, — отвечаю я. — Может, ещё и будет.

Хуже начинается не вечером, а через полчаса.

Когда мы разделили потоки, кто-то из связистов сбегал вниз и рассказал своим. А те рассказали соседям. А соседи — тем, кто стоял под стеной пакгауза с ночи.

И по берегу пошло: «связистов снимают с судна».

Потом, естественно: «нас снимают с судна».

Я это чувствую даже не ушами, а спиной: гул внизу меняет тон. Так меняется звук мотора, когда что-то пошло не туда, — ещё ничего не случилось, а ты уже знаешь.

— Тимка! — кричу я. — Савченко!

Тимка возникает из-за угла пакгауза — мокрый, в сползшей пилотке, с планшетом под мышкой.

— Здесь.

— Где установка?

— На полуторке, — говорит Савченко из-за его плеча. — Питание от аккумулятора, я вывел. Только, товарищ старший лейтенант, она в дождь сипит.

— Пусть сипит. Тимка, лезь на кузов.

— Что говорить?

Вот это правильный вопрос, и то, что он задал его первым, стоит трёх лет обучения.

— Только то, что проверено, — говорю я. — Никаких «всех вывезут». Никаких «спокойно, товарищи». Говоришь, какая группа сейчас грузится и где забирают следующую. Всё.

— А если спросят про баржу?

— Скажешь, что баржа задерживается, срок уточняется. Не ври и не утешай.

Тимка кивает и лезет на кузов.

Установка действительно сипит. В мокром воздухе её голос рвётся и гудит, но слова разобрать можно, и первое, что он говорит, — самое скучное на свете:

— Внимание. Сейчас на судно идут носилки из пакгауза. Группа связи, двадцать человек, старший Дробот, собирается у дороги к аэродрому: за вами придёт грузовик к самолёту. Остальным оставаться на местах, следующий сбор объявим отсюда же.

Гул не стихает, но меняется: из общего он становится местным. Люди начинают спрашивать друг друга, а не кричать в пространство.

А через десять минут ко мне приходят те, кто спросил и не получил ответа.

Их четверо. Впереди — немолодой, лет сорока пяти, в промасленном ватнике, с руками, которые сразу выдают его лучше любого документа: это руки человека, который тридцать лет что-то крутил. За ним — трое помоложе.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он. — Мы с аэродромной команды. Строительная. Нас вычеркнули?

— Нет.

— А связистов на судно посадили.

— Не посадили, — говорю я. — Связисты пошли на самолёт. На судно сегодня пошли раненные.

— Так самолёт-то тоже отсюда, — говорит он. — Выходит, они завтра будут на материке, а мы будем тут стоять.

Он говорит спокойно. Именно поэтому опасно: если бы он орал, я бы имел дело с одним человеком, а он не орёт, он спрашивает по существу, и за его спиной стоит триста человек, которые сформулировать не умеют, а чувствуют то же самое.

Я разворачиваю к нему лист.

— Читать умеете?

— Умею.

— Смотрите. Вот сегодняшний тральщик. Тринадцать носилок, вот перечень. Вот ваша строка: строительная команда, двадцать два человека, мотобот в восемнадцать — шесть человек, дальше вторым рейсом. Вот фамилия старшего от вас: Дегтярёв.

— Дегтярёв — это я.

— Тем лучше. Вот тут написано, где вас забирают: от левого угла пакгауза. Вот тут — кто вас принимает у трапа: боцман Гнатюк.

Дегтярёв читает. Читает медленно и подозрительно, как читают люди, которых уже обманывали бумагой.

— А почему связисты все двадцать, а нас шесть?

— Потому что на самолёт подтверждена группа связи, а мотобот делится между ранеными, сопровождающими и вашей командой. Это разные места и разные условия посадки.

— То есть им повезло с транспортом.

— Им повезло с транспортом, — говорю я. — Да. Именно так, без всякой хитрости. Завтра может повезти вам, потому что послезавтра тральщик вернётся, и тогда обе оставшиеся группы распределим по подтверждённым местам, сохраняя записанную очередь.

— А если не вернётся?

Вот это правильный вопрос, и на него нельзя ответить бодро.

— Если не вернётся, будет хуже, — говорю я. — Я вам не могу обещать судно, которого нет. Я вам могу обещать две вещи. Первая: вас никто не снимает с очереди, чтобы поставить кого-то другого, и, если снимет, это будет записано вот здесь, с фамилией, и вы это увидите. Вторая: вам будут говорить, где вы стоите. Не «ждите», а «до какого столба идти и кто там встретит».

— И всё?

— И всё, — говорю я. — Больше у меня ничего нет.

Дегтярёв стоит и смотрит на лист.

Я знаю, что сейчас решается. Он сейчас либо возьмёт бумагу как объяснение, либо развернётся и скажет своим, что начальство отговорилося; и второе будет справедливо ровно настолько же, насколько первое.

— Слышь, — говорит один из молодых у него за плечом. — А сундуки чьи на подводе стояли?

— Финчасти, — говорю я. — Пока не грузят. Подвода вон там, под откосом, сундук на ней. Если потребуют место — будем разбирать при вас.

Молодой не идёт смотреть. Но он и не отвечает.

Дегтярёв берёт край листа двумя пальцами, поворачивает его к свету и ещё раз перечитывает свою строку. Потом отпускает.

— Ладно, — говорит он. — Товарищ старший лейтенант, вам люди нужны?

— На что?

— На всё. Мои сидят четвёртые сутки. Люди, когда сидят, дуреют.

— Нужны, — говорю я. — Двоих — к весам, помогать. Двоих — с Хомутовым на медпункт, встречать партии. И вас самого — старшим по вашему углу: чтобы там не бегали к дороге каждый раз, когда мотор услышат.

— Сделаю.

Он уходит, и трое уходят за ним, и один из них — тот самый, молодой, — на ходу оборачивается и смотрит на меня ещё раз.

Я делаю себе пометку на полях: строительная команда, Дегтярёв, левый угол. И ещё одну, для памяти, без букв: человеку, который четвёртые сутки сидит под дождём, надо дать не утешение, а работу; это не доброта, это тот же самый расчёт, только по другой ведомости.

Я возвращаюсь к столу и понимаю, что у меня осталась несделанной самая неприятная часть дня.

Плешаков приходит на причал в четыре, с последним грузовиком, и я сразу вижу по нему, что он приехал не сдавать имущество.

Он подходит к столу, кладёт передо мной наш утренний лист и тычет пальцем в свою строчку.

— Вот, — говорит он. — Я — здесь. Ящики — здесь. А Николаенко и Гриценко — здесь, — палец уходит вниз, на завтрашний рейс.

Глава 5



— И что?

— И я не поеду.

Я откладываю карандаш.

У меня за спиной триста человек, сорванный график, судно, которое уходит в шесть, и один боцман, который считает крепление. Мне сейчас очень не хочется разбирать личные обиды.

— Плешаков. Объясни коротко.

— Коротко: ящики без этих двоих — это куча, — говорит он. — Я их паковал вместе с ними. Гриценко знает, где инструмент, Николаенко — где приборы. Если мы приедем без них, на материке всё вскроют и растащат за трое суток.

— Ты приедешь.

— Я приеду и буду стоять над этими ящиками один, — говорит Плешаков. — А их выгрузят на берег, потом перевезут, потом кто-нибудь скажет «отойди, не мешай», и всё.

— Значит, ты предлагаешь остаться и ждать их?

— Я предлагаю не разрывать.

Я уже открываю рот, чтобы сказать ему то, что говорят в таких случаях командиры: что очередь ждёт, что каждый считает своё дело главным, что если все начнут ставить условия, мы не отправим никого.

И тут к столу подходит Лида.

— Иванов, — говорит она. — У меня то же самое.

— Что «то же самое»?

Она кладёт рядом свой список.

— Тринадцать лежащих идут сегодня. Постоянных сопровождающих в трюме — двое, Гнатюк больше не берёт. А санитары, которые их довезут до причала, у меня стоят вот здесь. — Палец. — На завтрашнем рейсе. То есть носилки приедут на причал, их снимут с машины, и дальше их примет... кто?

— Двое сопровождающих.

— Двое на тринадцать носилок на трапе под дождём, — говорит Лида и сдвигает мой лист, освобождая место своему. — Вот этих двоих вы мне привязали к завтрашнему рейсу. Они сегодня донесут раненых до трапа и там останутся, а дальше что? Двое сопровождающих понесут одни носилки. Остальные будут лежать на мокрых досках, среди грузчиков. Один из моих тринадцати начнёт рвать — кто его повернёт? Бросать те носилки, которые уже несут?

Я смотрю на два листа.

Два разных человека. Две разные службы. Совершенно разные слова. И один и тот же дефект.

Я беру оба листа и кладу рядом.

Вот моя ошибка — и она сделана не сегодня утром, а вчера, когда мы с Литвиновым составляли предварительные списки. Мы считали людей по принадлежности: авиация отдельно, медицина отдельно, имущество отдельно. Мы составили три правильных столбика, и в каждом из них люди и вещи ехали параллельно, никогда не встречаясь.

А ехать они должны не параллельно. Ехать они должны сцепленными.

— Так, — говорю я. — Оба правы, оба подождите две минуты.

Я переворачиваю лист чистой стороной и рисую.

Не колонки. Цепочку.

Группа. Что везёт. Кто сопровождает от начала до конца. Кто принимает на той стороне — по фамилии.

— Плешаков. Твои ящики идут сегодня. С ними идёшь ты и Гриценко, Гриценко я снимаю с завтрашнего и ставлю сюда. Николаенко остаётся готовить последнюю машину, после запуска идёт с наземной группой на катер. Его выход запишем отдельно, вместе с дорогой от полосы.

— Кто примет на той стороне? — сразу говорит Плешаков.

— Вот, — говорю я. — Это следующий вопрос, и он общий.

— По носилкам разделяем работу, — добавляю я. — Дегтярёвы двое и двое Лиды несут до закреплённого места, затем возвращаются на берег. Два постоянных сопровождающих остаются в трюме. Гнатюк, покажите порядок переноса, чтобы носилки на трапе не встречались. Людей, которым нужно часто давать воду, кладём рядом с сопровождающими, Лида проверит, успевают ли они ко всем.

Боцман кивает и зовёт переносчиков пройти пустыми до кормового закутка. Лида идёт с ними; решение она подтвердит после этой пробы.

Я поворачиваюсь к Сазонову.

— Товарищ капитан-лейтенант. Мне нужна связь с материком. Не разговор — телеграмма с ответом.

— Какая?

— Простая. «Прошу сообщить фамилии принимающих: по имуществу авиагруппы — в порту, по раненым — в госпитале». И чтоб ответили фамилиями, а не «приму как положено».

Сазонов смотрит на меня, потом на два листа, потом на Лиду.

— Вы сейчас хотите, чтоб я занял линию под фамилии?

— Я хочу, чтобы через пять часов на том берегу тринадцать носилок кто-то встретил по имени.

Он молчит секунды три.

— Байда! — говорит он наружу. — Посыльного в штаб острова. Бегом.

Ответ приходит через час двадцать, в двух строчках, с искажённой фамилией, которую потом ещё десять минут переспрашивают.

По имуществу — воентехник второго ранга Шульга, порт, пирс номер два.

По раненым — военфельдшер Ракитина, эвакуприёмник, третий корпус.

Я пишу обе фамилии печатными буквами в свою цепочку. Потом беру ещё два листка, пишу на каждом то же самое и отдаю: один Плешакову, другой — Лиде.

— Плешаков, читай вслух.

— Шульга, порт, пирс номер два.

— Если Шульги не будет?

— Буду сидеть на ящиках, пока не найдут, — говорит Плешаков и вдруг усмехается. — Ладно. Поеду.

— Ковалёва?

— Ракитина, эвакуприёмник, третий корпус, — говорит Лида. — Иванов, а если её тоже не будет?

— Тогда ваш сопровождающий не отдаёт носилки никому, пока не появится живая фамилия. И это не самодеятельность, это я пишу в цепочке отдельной строчкой.

Лида смотрит на лист.

— Знаете, что самое обидное? — говорит она. — Мы этого могли не делать. Никто бы потом не спросил.

— Спросили бы, — говорю я. — Через месяц. У вас. И вы бы себе ответили сами, ночью.

Она не отвечает, но лист забирает.

К половине шестого выясняется, что вес всё равно не сходится.

Не сильно — тонны на полторы. Но полторы тонны сверх расчёта грозят оставить на берегу четыре носилки: и мне эти четыре носилки взять неоткуда, потому что боезапас я уже списал весь, какой мог.

Гнатюк приходит с очередным замером осадки и говорит просто:

— Больше не возьму. По грузовой марке запаса почти нет.

— Откуда взялось лишнее?

— Оттуда, — говорит боцман и ведёт меня к трапу.

У трапа, вдоль стены пакгауза, стоит то, что стоит у любого трапа во время любой эвакуации: вещи.

Чемоданы. Мешки. Сундучки. Узлы. Связанные ремнём тюки. Патефон — я не шучу, настоящий патефон в футляре. Швейная машинка. Ящик с чем-то стеклянным, из которого торчит солома.

— Вот ваши полторы тонны, — говорит Гнатюк. — И это только то, что уже донесли.

Я стою и смотрю на эту гору.

Каждая вещь тут принадлежит человеку, который её нёс одиннадцать километров под дождём. В каждом узле — вся жизнь, какая у человека осталась. И в каждом узле — двадцать, тридцать, сорок килограммов веса, который считается точно так же, как считается вес человека с простреленным животом.

— Прохоров! — говорю я. — Весы.

— Какие весы?

— Из столовой. Десятичные. Привезите.

Весы привозят через двадцать минут — облупленные, с гириями в брезентовом мешке, и когда их ставят на доски у трапа, вокруг сразу становится тихо.

Все понимают, зачем весы.

— Товарищи, — говорю я, встав на ящик, чтобы меня видели. — Сейчас будем взвешивать личный груз. Порядок такой: служебное — едет. Личный пакет до пяти килограммов — едет. Остальное остаётся здесь под расписку, и это касается всех без исключения.

В толпе сразу поднимается тот особый ровный гул, который ещё не возмущение, но уже его приближение.

— Начинаем с меня, — говорю я.

И кладу на весы свой вещмешок.

Он, честно говоря, жалкий. В нём нет ничего, потому что у человека, которым я стал, никогда не было времени обрести вещами: бритва, кусок мыла в тряпке, запасные портянки, полевое одеяло, ложка, кружка, две тонкие книжки, которые я даже не открывал, и шерстяной свитер, связанный кем-то, кого я не помню.

Чуть больше шести килограммов.

Я развязываю мешок при всех и выкладываю на доски: бритва, мыло, портянки, одеяло, ложка, кружка и одна книжка — в одну сторону. Вторую книжку и свитер — в другую.

— Служебное и пять килограммов, — говорю я. — Остальное остаётся.

— Товарищ старший лейтенант, свитер-то чего? — спрашивает кто-то из толпы. — Свитер — он лёгкий.

— Восемьсот граммов, — говорю я. — Запасные сапоги ещё на аэродроме оставил, в чемодане. Без второй книжки здесь всё равно больше пяти. Теперь снимаю свитер.

В планшете у меня остаются документы, карта, карандаш, фотография и письмо. Планшет — служебное. Про фотографию и письмо я не говорю ничего, и никто не спрашивает; и я ловлю себя на том, что впервые за всё время рад тому, что моя единственная личная вещь весит двенадцать граммов.

Дальше начинается очередь к весам, и она идёт тяжело.

Тяжело — потому что люди не спорят. Они подходят, кладут, смотрят на стрелку и отдают. Женщина из вольнонаёмных, повариха, снимает с мешка швейную машинку и ставит её на доски отдельно, аккуратно, как ставят на стол. Потом отходит и стоит рядом, не уходя, минуты три.

Я к ней не подхожу. Есть вещи, при которых командиру надо просто не мешать.

К шести, когда трап уже гудит от ног, к столу подходит интендант третьего ранга — фамилия Бурцев, я видел его утром в штабе острова, — и кладёт передо мной бумагу.

— Отдельное распоряжение, — говорит он. — Имущество финчасти, один сундук, к погрузке первым рейсом.

Я читаю. Бумага настоящая, подпись есть, подпись принадлежит человеку, которого сейчас нет на острове.

— Где сундук?

— На подводе.

— Вес?

Бурцев мнётся.

— Килограммов сто.

— Сто десять, — говорит Гнатюк, не поднимая головы. — Я его трогал.

Сто десять килограммов. Хватит на человека с носилками и его вещи.

— Товарищ интендант третьего ранга, — говорю я. — Я вашу бумагу не оспариваю. У меня нет на это права. Но у меня есть ведомость загрузки, и в ней всё, что грузится, записано против того, что не грузится. Поэтому я сейчас впишу ваш сундук вот сюда, — я показываю пальцем, — а вот здесь, напротив, вычеркну носилки. И укажу фамилию.

— Какую фамилию?

— Того, кого снимут. Он вон там лежит, в пакгаузе, вторые носилки от стены. Двадцать лет, ранение в живот. Ковалёва говорит, что до завтра он не доживёт.

Бурцев смотрит на меня. Потом — на пакгауз. Потом снова на меня.

— Это... — он тянет распоряжение к себе, но останавливается, увидев мой карандаш над ведомостью. — Вы не можете так поворачивать дело. Мне приказано доставить сундук.

— Это арифметика, — говорю я. — Сто десять килограммов груза равны ста десяти килограммам человека с носилками. Судно не различает. Ведомость тоже не различает. Различаем только мы с вами, и то не всегда.

— Вы не имеете права ставить фамилию.

— Имею, — говорю я. — Я обязан указать основание. Если я напишу «снято по недостатку веса», это будет неправда. Правда в том, что снято в связи с погрузкой имущества финчасти по отдельному распоряжению. Так и напишу.

Бурцев стоит ещё секунд десять.

Он не злодей. Он человек, у которого есть распоряжение, полученное от старшего, и сундук, в котором лежит то, за что с него тоже спросят, — и он всё это время был уверен, что сундук грузится вместо «чего-то там», а не вместо конкретного мальчика со вторых носилок от стены.

— Я заберу, — говорит он.

— Куда?

— Обратно на подводу. Подождёт следующего рейса.

— Запишу как перенос по вашей просьбе, — говорю я. — Без фамилий.

Он берёт свою бумагу и уходит, и на ходу у него очень прямая спина.

Гнатюк провожает его взглядом.

— Он на вас донесёт, — говорит боцман задумчиво.

— Может быть.

— Точно донесёт. Не сегодня. Через месяц, когда вспомнит.

— Тогда через месяц и посмотрим.

Я думаю, что на этом эпизод закрыт, и на этом я ошибаюсь.

Потому что слух уже пошёл.

Я слышу его через двадцать минут — не жалобу, не крик, а просто фразу, брошенную в очереди у весов, негромко, без адреса:

— ...а начальство своё отдельно вывозит. Сундуками.

Я оборачиваюсь. Никто не смотрит мне в глаза. Все смотрят на весы.

И это очень плохо, потому что слух не видит документа: сундук остался на подводе, а толпа этого не знает.

В семь начинает темнеть, дождь усиливается, тральщик отходит от причала — с тринадцатью носилками, с Плешаковым, с Гриценко, с ящиками и с фамилией принимающего воентехника Шульги, записанной печатными буквами на трёх листах.

А в двадцать минут восьмого толпа срывается.

Я стою у стола под навесом, спиной к пакгаузу, когда звук меняется.

За полсекунды до крика.

Так бывает, когда на аэродроме кто-то неправильно запускает мотор: ещё ничего не произошло, но звук уже не тот, и ты разворачиваешься раньше, чем понимаешь зачем.

Разворачиваюсь.

От пакгауза, из-под навеса, где стояли те, кто ждал с ночи, к дороге и к причалу двинулась масса. Не бегом — сначала просто шагом, вся сразу, как сдвигается снег на крыше. Кто-то крикнул, что подают следующую машину. Кто-то крикнул, что машина последняя. Кто-то — что грузят начальство.

Проход между пакгаузом и штабелями узкий, метра три. В нём сейчас идут носилки — те четверо, которых Лида готовила на мотобот.

И в этот проход, навстречу носилкам, вваливаются человек шестьдесят.

Впереди падает боец. Я вижу это отсюда: он поскользывается на мокрых досках, нелепо взмахивает руками и уходит вниз, а сзади продолжают идти.

Караул у трапа поворачивается. Старшина Байда делает шаг вперёд, и я вижу, как его рука идёт к ремню карабина за спиной.

Вот тут у меня внутри всё останавливается.

Потому что сейчас решается не вопрос очереди. Сейчас решается, будет ли у нас на этом причале стрельба по своим, и после неё уже не будет никакой эвакуации, а будет то, о чём потом двадцать лет не рассказывают.

Я делаю шаг от стола — и останавливаю себя.

Это, наверное, самое трудное физическое усилие за весь день: стоять.

Потому что если я сейчас побегу туда, то через тридцать секунд я буду одним из ста человек в узком проходе, орущим наравне со всеми. А за этим столом останется ведомость, по которой Сазонов через десять минут будет решать, что грузить на мотобот. И никого, кто отвечает.

— Тимка! — ору я. — Установка!

— Сипит!

— Всё равно!

— Федя!

И Федя уже идёт.

Он идёт не бегом, а быстрым широким шагом, с правой стороны, вдоль стены пакгауза, там, где толпа ещё жидкая. Плечо у него после августа так и не стало прежним, и правую руку он в драку не сунет, и он это знает лучше всех.

Поэтому он не лезет в середину.

Он влезает на штабель ящиков сбоку — с одной руки, неловко, — и оттуда начинает кричать. И кричит он не «стоять» и не «назад».

Он кричит имена.

— Мищенко! Мищенко, это ты? Разворачивайся ко мне! Хомутов! Кузьмич, ты где, я тебя вижу! Разворачивайтесь лицом к своим!

Я вижу, как в тёмной шевелящейся массе что-то происходит.

Три или четыре человека в середине останавливаются и начинают поворачиваться назад, к тем, кто напирает. Один из них — здоровенный, в ватнике, — упирается плечом и начинает орать что-то своё, в упор, тем, кто сзади.

И масса, дойдя до этих развернувшихся, спотыкается. Не останавливается — именно спотыкается, как спотыкается вода, встретив камень.

— Поднимайте! — орёт Федя. — Под ним человек! Поднимайте, вы его топчете!

Хомутов упирается спиной в напирających и зажимает пятку между досками. Мищенко держится рядом; на секунду их обоих гнёт вперёд.

— Сзади стой! Человека поднимаем! — доносится снизу.

Крик передают дальше. Напор ослабевает ровно настолько, чтобы двое впереди нагнулись и схватили упавшего за рукава. Его вытягивают к штабелю; освобождённое место сразу занимает чужой сапог, но человек уже сидит у ящика, прикрыв голову руками.

Над всем этим начинает сипеть установка.

— Внимание, — говорит Тимка, и голос его, разорванный дождём и плохим питанием, звучит как голос из бочки. — Машина не последняя. Следующая машина забирает от медпункта через сорок минут. Сейчас от пакгауза идут носилки, четверо. Дайте проход носилкам.

Он повторяет это второй раз. Потом третий.

Никаких «спокойно, товарищи». Никаких «всех вывезут».

Толпа не расходится. Но она — я вижу это сверху — начинает расслаиваться: часть людей поворачивается к проходу боком и отступает к стене, освобождая метр, потом полтора.

Федя слезает со штабеля и идёт вдоль этой щели, и за ним идут те четверо, кого он назвал по именам. Они не расталкивают. Они просто идут стенкой и говорят на ходу — не

мне слышно, что, но по лицам видно, что это обычные слова, обычным голосом, кому-то знакомому.

Глава 6



Носилки проходят.

Байда так и не снял карабин.

Я вижу это очень отчётливо, потому что смотрел именно на его руку: он довёл ладонь до ремня, взялся за него и держался — не как за оружие, а как держатся за перила. Потом, когда в проходе освободился метр, отпустил и вытер ладонь о шинель.

Позже, ночью, он подойдёт ко мне сам и скажет одну фразу: «Товарищ старший лейтенант, я чуть не снял». И я отвечу ему, что он не снял, и что об этом надо помнить именно так, а не иначе, потому что человек, который всю жизнь будет считать себя тем, кто чуть не выстрелил, служит хуже, чем человек, который знает, что не выстрелил.

Но это будет ночью.

Теперь, когда проход свободен, я замечаю цену того спуска: ещё у штабеля Федя соскользнул, ухватился правой рукой за край ящика и сразу отпустил. Тогда его заслонили носилки. Теперь он идёт, прижав локоть к боку.

Он приходит к столу минут через десять, держа правую руку у груди, и вид у него очень будничный.

— Проход есть, — говорит он. — Пока стоят.

— Плечо?

— Плечо на месте.

— Костенко.

— Дёрнул, — говорит он. — Не сильно. Ковалёвой не говорите.

— Скажу.

— Товарищ старший лейтенант...

— Скажу, — повторяю я. — Потому что завтра ночью ты мне нужен в нижней точке, а не с рукой в петле. И если я про это узнаю не сегодня от тебя, а завтра в воздухе от твоего молчания, я тебя вообще не возьму.

Он вздыхает и садится на угол ящика.

— Там мужик один, — говорит он через паузу. — Из тех, кого я по имени звал. Хомутов. Он своё место потерял, пока разворачивался.

— Как потерял?

— Ну как. Он стоял вторым десятком, а пока держал проход, мимо прошло человек сорок. Теперь он в конце.

Я смотрю на лист.

Это та самая цена, которую никакая ведомость не показывает: человек, который остановил давку, вылетел из очереди, потому что стоял к ней спиной.

— Тимка! — говорю я вверх. — Запиши в мою тетрадь отдельной строкой: кто держал проход — Хомутов, Мищенко, Кузьмич, четвёртого узнаем. Они идут следующей партией, вне очереди, и объявишь это вслух, при всех, с фамилиями и с причиной.

— А не будет шума?

— Будет, — говорю я. — Один раз. А если не объявить, то во второй раз проход держать никто не пойдёт.

Я стою у стола и смотрю на это, и у меня трясутся руки — сейчас, когда всё уже кончилось.

Сазонов появляется рядом.

— Почему вы не пошли? — спрашивает он.

— Потому что тогда здесь никого бы не было.

Он смотрит на ведомость на столе, потом на меня.

— Знаете, Иванов, — говорит он, — я четверо суток думал, что вы, лётчики, работать на земле не умеете.

— Мы и не умеем.

— Ну да, — говорит он. — Оно и видно.

Через сорок минут мы теряем поток.

Не из-за толпы, не из-за давки и не из-за начальства. Из-за шофёра.

Полуторка, которая должна была забрать от медпункта следующую группу, не приходит. Через десять минут ожидания в очереди начинается то же самое шевеление; через пятнадцать кто-то произносит вслух то, чего все ждали:

— Всё. Уехали.

И сразу вторым слоем, тем самым, дневным:

— Начальство увезли, а нас бросили.

Я вижу, как эта фраза идёт по очереди — буквально вижу, как по воде, как рябь от брошенного камня. И понимаю, что сейчас мы получим второй раз то же самое, но теперь уже без Феи на штабеле, потому что второй раз одни и те же слова не работают.

— Федя, — говорю я. — Что с машиной?

— Не знаю. Должна была прийти в двадцать минут.

— Пошли кого-нибудь.

— Кого?

И вот тут я наконец понимаю, что мы делали неправильно весь день.

Мы посылали людей вперёд. Всё время вперёд: вперёд с носилками, вперёд к трапу, вперёд к машине. И ни разу — обратно.

А очередь стоит и не видит ничего, кроме спины уходящего. Ей никто не приносит новостей. Все новости приходят к ней сверху, через сипящую установку, от начальства, которому она уже не очень верит.

— Мищенко, — говорю я. — Сюда.

Мищенко подходит. Тот самый — сапоги, вещмешок, август, полоса. Сейчас он старше на месяц и на целую войну.

— Ты сейчас пойдёшь пешком до медпункта и обратно, — говорю я. — Одиннадцать километров не надо, до медпункта здесь два. Найдёшь машину. Узнаешь, где она и почему стоит. И придёшь обратно.

— Есть.

— Стой, Мищенко. — Он уже повернулся к дороге; я дожидаюсь, пока снова посмотрит на меня. — Вернёшься — сначала скажешь, что видел, мне. Потом пройдёшь вдоль очереди и расскажешь людям сам. Пусть спрашивают тебя, ты там побываешь.

Мищенко смотрит на меня.

— Понял, — говорит он. — А если её там нет?

— Тогда скажешь, что её там нет. Не приукрашивай.

Он уходит в темноту.

— И второго, — говорю я Феде. — Второго — навстречу носилкам, к медпункту. Чтобы обратный путь не был пустым: он вернётся вместе с ними и доведёт до трапа.

— Хомутова пошлю.

— Посылай.

Мищенко возвращается через двадцать пять минут, мокрый до нитки, дышащий как загнанная лошадь, и — я сразу вижу — довольный.

— Машина на месте, — говорит он, останавливаясь передо мной. — Она не сломалась. Она разгружается. Ей на медпункт привезли ящики, и там сейчас снимают, потому что кузов занят. Шофёр сказал: двадцать минут — и придёт.

— Ты видел кузов сам?

— Сам. И шофёра видел, Чернега его фамилия.

— Хорошо, — говорю я. — Теперь иди и говори.

И Мищенко идёт вдоль очереди.

Я стою у стола и слушаю, как это работает.

Он говорит негромко, без всякого ораторства, простыми словами: машина на медпункте, разгружается, придёт минут через двадцать, шофёр Чернега, я его сам видел. Кто-то из очереди спрашивает — он отвечает. Кто-то спрашивает второй раз то же самое — он отвечает опять, терпеливо, как человек, которому не жалко.

И очередь садится обратно на свои мешки.

Не потому, что поверила начальству. Потому что перед ней стоит свой парень, который двадцать минут назад ушёл туда, а сейчас вернулся и рассказывает.

— Тимка, — говорю я вверх, на кузов. — Меняем порядок. Больше не объявляешь группы номерами. Объявляешь рубежи.

— Как?

— Так. «Группа три — медпункт». Не «группа три, приготовиться», а «группа три идёт до медпункта, там её встречает Хомутов». Потом: «группа три — грузовик». Потом: «группа три — трап, принимает боцман Гнатюк». Человек должен слышать не номер, а место, куда он сейчас физически придёт, и фамилию того, кто его там встретит.

Тимка молчит секунду.

— Это же длиннее.

— Это длиннее и понятнее. Пробуй.

Он пробует.

И через полчаса я вижу то, ради чего был весь этот день.

Очередь начинает двигаться партиями.

Людей из дальнего укрытия вызывают по десять. Они доходят до медпункта; Хомутов встречает их и возвращает посыльного с числом прибывших. Полуторка отвозит десяток к гавани, где Байда считает людей и размещает под навесом до следующего судна. Уходящий мотобот берёт только свою двадцатку, остальные получают место ожидания и срок следующей проверки, а не обещание немедленной посадки.

Между рубежами есть люди. У каждого рубежа есть фамилия. И главное — между рубежами теперь ходят обратно.

Это, если честно, не изобретение. Это самая обыкновенная схема, которую я в прошлой жизни видел на любом крупном аэродроме при любой массовой переброске, и там она называлась длинным скучным словом и была расписана в инструкции, которую никто не читал, потому что она работала сама собой.

Здесь она не работает сама собой. Здесь её приходится собирать из живых людей под дождём, и каждый винтик в ней — это человек, которого надо назвать по имени.

Лида находит меня около одиннадцати, когда очередь уже идёт ровно, а я стою у стола и переписываю расчёт набело.

Она садится на ящик рядом, вытягивает ноги и некоторое время просто молчит.

— Мальчик жив, — говорит она наконец. — Тот, с животом. Ушёл на тральщике. Гнатюк его положил у кормового закутка, головой к борту.

— Хорошо.

— Не хорошо, — говорит она. — Пятьдесят на пятьдесят. Но он хотя бы в тепле и на судне, а не на досках.

Мы сидим.

Дождь к ночи стал реже, но холоднее. Внизу, у трапа, горит один фонарь, прикрытый жестяной сверху, и в его свете видно, как поднимается пар от людей.

— Иванов, — говорит Лида. — Я вас вчера кое о чём спрашивала.

Вот это неожиданно. Я успел совершенно забыть.

— Спрашивали.

— Я обещала проверить по лицу. — Она поворачивает голову. — По лицу не видно, вы за сегодня стали похожи на мешок. Так что спрошу словами. Написали?

— Написал.

— Что написал?

— Три строчки, — говорю я. — «Я жив. Я здесь. Писать мне пока трудно, но я напишу ещё».

— И?

— И не отправил.

— Почему?

Я достаю планшет, расстёгиваю его и показываю ей — не письмо, а конверт.

— Потому что я не знаю адреса.

Лида смотрит.

— Он же вот, — говорит она. — На конверте.

— На конверте обратный адрес отправителя, — говорю я. — Написан от руки, карандашом, и половина размокла ещё до меня. Я могу разобрать город и, кажется, улицу. А номер дома — нет.

— Внутри должен быть.

— Внутри — да, — говорю я. — Наверное.

И вот тут она понимает.

Я вижу, как понимает: у неё меняется выражение лица — не жалость, а что-то куда более неудобное, ближе к изумлению.

— Вы его так и не открыли, — говорит она.

— Нет.

— Иванов. Вы сегодня двенадцать часов воевали с интендантами за семнадцать носилок. Вы отняли у человека сундук. Вы стояли у весов и выкладывали свои портянки на всеобщее обозрение. И вы не можете открыть конверт.

— Не могу.

— Почему?

Я думаю, как ответить так, чтобы не соврать.

— Потому что пока я его не открыл, там всё ещё может быть что угодно, — говорю я.

— А когда открою, там будет конкретный человек, который задаёт конкретные вопросы. И на них придётся отвечать конкретно. А у меня нет ответов.

— У вас есть три строчки.

— Три строчки — это не ответ. Это уведомление.

Лида долго молчит.

— Ладно, — говорит она. — Знаете что? Оставьте пока.

— Что, серьёзно?

— Серьёзно, — говорит она. — Я вчера была умная и посоветовала вам написать. Вы написали. Дальше должно идти «и отправить», и я должна сейчас на вас надавить. А я не буду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.